
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ
ПОДОРОЖНИК


Санкт-Петербург
Петрозаводск
м. Канин Нос
о. Колгуев
Нарьян-Мар
Большеземельская тундра
Архангельск
Валдайская возв.
Вологда
Ярославль
Смоленско-Московская возв.
МОСКВА
Тула
Сыктывкар
Северные Увалы
Киров
Нижний Новгород
г. Народная 1895
Саранск
Казань
Ижевск
Пермь
Воронеж
Саратов
Самара
Волгоград
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Челябинск
Тюмень
Магнитогорск
Оренбург
Астрахань
Атырау
Омск
АСТАНА
Жезказган


Диксон
Северо-Сибирская низменность
Хатанга
Норильск
плато
1678
Путорана
СРЕДНЕСИБИРСКОЕ
Салехард
Нов. Уренгой
Туруханск
1085
Тура
ПЛОСКОГОРЬЕ
Сургут
Нижневартовск
Центральнотунгусское
548
плато
1125
Усть-Илимск
912
Томск
Новосибирск
Кемерово
Красноярск
Братск
1909
Барнаул
Абакан
Иркутск
3491
2466
Оленёк
Мирный
150
47
1125
908

Валентин
Курбатов



Подорожник



Иркутск 2004

УДК 821.161.1
ББК 84(2=Рус)7
К 93

Художник Сергей Элоян

Курбатов В. Я.
К 93 Подорожник: Встречи в пути, или Нечаянная история литературы в автографах попутчиков / Предисл. В. Г. Распутина. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2004. — 352 с.

ISBN 5-94535-047-8

Были люди в наше время!

Валентин Курбатов опять «между прочим» собирает завидный урожай с участка, который не требовал особенного ухода и располагался в дальнем углу его писательского хозяйства, куда хозяин наведывался только от случая к случаю. Но счастливая рука у этого хозяина: что ни воткнет в едва разрыхленную почву, непременно вымахает «овощ» на загляденье. Сначала «с обочины» вышла переписка с Виктором Астафьевым: два близких по духу человека, следуя старинному правилу дружеского общения, просто писали друг другу, не могли не писать обо всем, что происходило в литературе и жизни накануне и в продолжение трагических событий 1980—1990-х годов. Цену они себе, разумеется, знали, но едва ли придавали большое значение своей переписке и, уж конечно, не думали о книге. Но не могли не замечать они как люди чувствительные и внимательные ко всему, что происходит вокруг, что ос-

таются в числе последних, кто в электронный век не отказался от писательской ручки как орудия своего производства (а Виктор Петрович так и от чернил до последнего дня не отказался) и не изменил дружескому общению с помощью почтового конверта. Наступают времена окончательного и великого прощания с окружавшими человека, и в особенности творческого человека, мелочами быта, орудиями профессионального труда, предметами личного уюта, — всего того, что необъяснимо поднимает настроение и располагает к работе. Ах, как много великие люди зависели от мелочей! Это же были атомы и молекулы их творческого естества, «рычажки», запускающие в действие мозговой аппарат, едва уловимые сигналы поощрения или, напротив, тревоги. Нет, не будь во все предшествующие века и до самого последнего времени у писателя этого царства пустяков, не было бы и литературы, которой мы гордимся и которая ни в какое сравнение не идет с продукцией, как из доменной печи, добываемой из компьютера.

Двадцать восемь лет продолжалась переписка между Виктором Астафьевым и Валентином Курбатовым. Осенью 2001 года Виктора Петровича не стало. И тогда высмотрелось, что письма-то эти имеют не один только частный, но и общественный интерес, что личного в них меньше, чем общезначимого, да и личное в те буйные годы у людей такого ранга не спрячешь. Можно было, ко-

нечно, не торопиться с публикацией, чтобы дать остыть некоторым горячим высказываниям и некоторым убеждениям дать отстояться во времени, да само время сейчас и подгоняет, уплотняясь и напрягаясь как никогда; годы, будто волны в бурю, с нахлестом перемахивают друг через друга без всякой последовательности, так что и не сказать, где сегодня и где завтра. Поэтому можно понять Валентина Яковлевича, поспешившего, казалось бы, с публикацией переписки: быстро меняются не только вкусы и нравы, но и все больше во внешнюю жизнь переходит человек.

И вот теперь «Подорожник» из того же разряда «между делом», «между прочим». Происхождением из легкомысленного занятия брать у известных людей автографы. Альбомному этому жанру сотни, как не тысячи, лет, бессчетное число девичьих душ провели оставленные на их страницах посвящения и памятки сквозь всю жизнь в нежных и отрадных чувствованиях. Тоже недурная служба, и тоже исчезающая. Как не отдать ей дань, как не всмотреться внимательней, что это за страсть такая была, что ею не гнушались ни Пушкин, ни Лермонтов, ни многие иные из великих, и нельзя ли повернуть ее на современный лад и с ее помощью сказать об именитых больше и с такого боку, откуда к ним не принято подходить.

В «Подорожнике» среди многих иных личностей оказался со своим автографом и я. В его воспоминаниях о первых наших встречах двадца-

тилетней давности не упомянут один эпизод, который мне теперь вспомнился. Несколько дней в ту пору мы с Курбатовым прожили у меня на даче неподалеку от Байкала. Гость мой, встретив в хозяине не слишком болтливого человека (он не преминул это немногословие, свойственное многим сибирякам, превратить в каменное молчание), — словом, гость мой заскучал. Не книжки же читать ехал он за тридевять земель! Но вот вижу: откопал он на свалке старый детский велосипед с одним колесом и давай мараковать, как бы на нем покататься. А далеко ли укатишь на одном колесе?! А не отступается: то под переднее крыло это колесо, то под заднее... А оно все одно. Смотрел-смотрел я на его мучения и полез на чердак, где в хламе валялось еще одно колесо, вдвое больше первого и с выбитыми наполовину спицами. «Вот, — говорю, — оно могло бы быть вторым, но вторым ему не быть, они совершенно разного формата, их в одну тележку впрячь неможно».

Полдня провозился мой гость и поставил-таки велосипед на два колеса. Получилось нечто вроде цирковой забавы. Но она покатилась. И даже прокатила недалеко своего конструктора.

Так и с альбомом-«подорожником». Подарили Валентину Яковлевичу не записную книжку и не книгу для записей, а что-то среднее, аккуратное, со вкусом сделанное, как раз под руку, под мелкий его почерк. Не для критических статей, это

было бы грубо, а для сердечного, для чего-нибудь такого, что неторопливо можно продолжать всю жизнь. Хоть альбом заводи! Но если только альбом для автографов — мало веса, разнобой, кто в лес, кто по дрова. Вот тогда-то, должно быть, и вспомнил Валентин Яковлевич велосипед на двух неодинаковых колесах, сохраняющий способность к движению. Малое колесо — это функция автографа: каждый из избранников вписывает в блокнот собственноручно что ему заблагорассудится, а большое колесо, несущее основную нагрузку, — портрет автографиста, подробный рассказ о встрече с ним — или со слов героя, или автора, или дневниковые записи последнего. Жанр, нигде и никогда, кажется, не существовавший, достаточно вольный, но и достаточно слаженный, органичный, увлекательный.

Катится-катится колесо по дороге жизни, встретится интересный человек — остановка. Десятки и десятки встреч с громкими и заслуженными именами, прославленными людьми искусства, большей части которых уже нет в живых. С одними, как с Семеном Гейченко, Виктором Астафьевым, Виктором Конецким, долгая дружба, бессонные ночи за разговорами, знание друг друга до буковки, пронзительно-точное чутье к русскому слову, перенесенное в «Подорожник». С другими, как с Георгием Свиридовым, встреча случилась единственная, но столь полная, столь богатая, будто продолжалась она дни и дни. Великий ком-

позитор велик здесь во всем своем богатырском размахе. Одновременно с радостью и болью читаешь разговор с Валерием Гаврилиным — такой чистоты человека, кажется, и не бывало в искусстве. И светлого, проницательного, истинного чародея музыки. А встречи с Анастасией Ивановной Цветаевой, Валентином Берестовым, Арсением Тарковским, Давидом Самойловым, Ярославом Головановым и многими-многими другими. И в каждой встрече — знакомый и словно бы незнакомый человек, нигде более в таких подробностях и такой ипостаси не бывавший, многое в себе сберегший только для «Подорожника».

Продолжались эти записи почти тридцать лет, и все «между прочим», в промежутках между важными делами и серьезными книгами.

Вот что еще удивительно. Валентин Яковлевич завел себе этот спутник-«подорожник» еще в молодые годы. Чтобы заполнить его даже вполовину, надо было рассчитывать на долгую жизнь. Ведь для каждой встречи требовался счастливый случай и удачное стечение обстоятельств, а такое каждый день не выпадает. Рядом с его «Подорожником» повесть или рассказ — раз плюнуть, знай сиди себе спокойненько на одном месте и тяни слова, как рыбку, из омута, где они водятся. И то оторопь берет: хватит ли дней твоих, чтобы успеть поставить точку? В таких случаях мы боимся заглядывать далеко и продвигаемся вперед с постоянной оглядкой. А Валентин Яковлевич без сомне-

ния запрашивает: «Мне потребуется на эту работу лет тридцать!» и получает их. В этом шутливом вроде бы замечании есть доля мистической правды: если дело твое правое и чистое и начал ты его с уверенностью в своих силах — быть и его окончанию.

Прост и величав «Подорожник». Последовав дорогой автора, уже не можешь ни остановиться, ни уклониться в сторонку — так увлекают и завораживают эти встречи, так много в них глубокого, нового, питающего... Валентин Яковлевич словно бы угадал время... Хотя чего и угадывать, если он жил в нем! Ему посчастливилось, что ходил он по российским дорогам именно в это время. Сейчас подобный «Подорожник» уже не создать. Не те дороги, не тот народ селится подле них. А правильней сказать: не селится, а проезжает на скоростных машинах.

Валентин РАСПУТИН



ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ПОДОРОЖНИК

ВСТРЕЧИ
В ПУТИ,
ИЛИ
НЕЧАЯННАЯ
ИСТОРИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ
В АВТОГРАФАХ
ПОПУТЧИКОВ

ПРОЛОГ

Кажется, у таких книг родство давнее. У Владимира Ивановича Даля в Словаре о них говорилось как о явлении уже вполне устоявшемся: «Альбом, альбум — *м., лат.* Белая книга, в которой друзья и знакомые пишут и рисуют на память». Вероятно, впервые эта «белая книга» залетела в Россию из нежной, легкомысленной Франции и была разнесена «смолянками» по дворцам и усадьбам, где первенствовало совсем не отечественное воспитание, где даже и не «смолянки», а и бедная Таня Ларина, по-русски знали мало. И Пушкин в «Онегине» дружески трунил над этими несчетными альбомами «уездных барышень», зная этот «жанр» во всех оттенках:

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки.
Тут, верно, клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски.
Какой-нибудь *пиит* армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я.

В такой — да, но храни Бог от торжественных, с порога назначенных для «высоких гостей», для честолюбивого блистанья:

Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас Божий гром.

Они продержались долго. Я помню, у моих одноклассниц послевоенного XX века еще порой мелькали выкраиваемые из бедной-бедной школьной нищеты, раскрашенные бесцветными «цветными» карандашами той поры тетрадки со стихами, розами и пылкими афоризмами вроде: «не дари поцелуя без любви». Но это уже был «кризис жанра».

Самым же знаменитым альбомом начала XX века была, конечно, «Чукоккала», начавшая фактически другой период истории такого собирательства, как Возрождение после Средневековья, и известная теперь всякому книжнику по несчетным изданиям. Были, верно, подражания, да и сейчас есть. И не они ли породили в чиновных головах такую насильственную, административно тяжелую, под стать портикам сталинских зданий, форму собирания автографов, как «Книга почетных посетителей»? Пушкинское дитя меняло форму, но «великолепные альбомы», на которые он призывал «Божий гром», узнавались и тут.

Семен Степанович Гейченко в Михайловском

предпочитал их комическую форму. На двери кабинета вывешивались стандартные листы ватмана в полдвери. Там негде было спрятаться за «соседней страницей» — всяк был друг у друга на виду со своим стихом, рисунком, дружеским приветом. По заполнении листы сменялись. Они по переплетении обещали сложиться в державный том, который, вероятно, мог быть явлен народу только здоровыми русскими протодьяконами, потому что простой мужик, да еще и ученый, будь он хоть гераклова сложения, повергся бы под его тяжестью, как пушкинский бес под кобылой.

Семен Степанович внес «альбомный элемент» даже в такое почтенное и целомудренное место, как садовая уборная, на чьих стенах «писывали», бывало (простите за сразу задвоившийся глагол), Дудин и Антокольский, Мыльников и Звонцов — то есть, страшно вымолвить — депутаты и академики. И там можно было прочесть оды, начинавшиеся с неизменного и зимой такого естественного «О!», и элегии: «Утешься тем, озябший друг, что за стеною этой будки весною яблони цветут и расцветают незабудки».

Мой «Подорожник» начался случайно. Однажды я получил в подарок от своего товарища, у которого снимал в Пскове комнату — чудесного русского писателя Ю. Н. Куранова, — толстую тетрадь, скорее даже книжный блок, созданный для Бог весть каких канцелярских нужд. На скверной обложке обозначалась какая-то бюрократическая повинность этого изделия. А какая — я уже не вспомню, потому что позже, когда книжка от записи к записи ста-

ла умнеть, другой добрый товарищ переплел мне ее в более основательную одежду с листом подорожника на обложке, что сразу подчеркнуло скитальческую судьбу книжки, и похоронил под обложкой первоначальное назначение этого канцелярского дара. Бумага была бедная, тонкая, но ее было много, писать можно было долго. А чтобы я оценил подарок в настоящей мере, Юрий Николаевич начертал на первой странице прекрасный автограф, отражавший как его духовное состояние (он тогда еще умело и поэтически пил), так и чистоту дара.

Тогда время становится густым и непроходимым, как воск или как смола. Тогда внутри него становится темно и душно. И птица там не пролетит, не упадет капля росы или не прорвется удар ветра. И голос не раздастся и не откликнется откуда бы то ни было. Тогда там лопнет сердце и разорвется на длинные кровавые куски, которые медленно будут разлетаться в разные стороны и развеваться будут на медленном полете, подобные лохмотьям теплого вечера или отдаленной жалобной песни, или чьего-то мучительного взгляда, от которого хочется плакать и выть, как собака, и лететь куда-то или рвать себя за волосы, выдавливая медленно глазницы собственными пальцами, чтобы не видеть эту непроходимую вязкую глушь, которая душит человека, как смола.

11 января 1975. Ночь.

Вивальди, минорный концерт для скрипки и клавесина.

Посмотрите на эту дату и вслушайтесь в этот

Тогда время становится густым и непроходимым, как воск или как смола. Тогда внутри него становится жарко и душно. И крик там не пролетит, не упадёт капля росы или не прорвётся удар ветра. И голос не раздаётся и не откликнется откуда бы то ни было. Тогда разлопнет сердце и разорвётся на длинные кровавые куски, которые медленно будут разлетаться в разные стороны и развеваться будут на медленном ветре, подобные лохмотьям какого-то тёплого вечера или отдалённой жалобной песни, или чего-то мучительного взгляда, от которого хочется плакать и выть как собака и метать куда-то или рвать себя за волосы, вдавливая медленно глазницы собственными пальцами, чтобы не видать эту непроходимую вязкую гущу, которая душит человека, как смола.

11.1.75 ночь

Вивальди [illegible] концерт для скрипки и клавесина.

«концерт для скрипки и клавесина» — ведь это портрет всех семидесятых годов и прообразование всех восьмидесятых. Только я еще не слышал этого тогда, принимая текст за нервное художественное преувеличение, за обычную у Куранова гиперболическую игру. Его образность всегда была остра и составила ему славу в его ценимых тогда любителями высокой прозы книгах «Колыбельные руки», «Увалы Пыщуганья», «Звоны над озером». Но это мне казалось игрой, а Юрий Николаевич знал «предмет» лучше меня. Не зря он вырос в ссылке, куда попал как сын «врага народа». Его отец был заместителем директора Эрмитажа. Одного этого было довольно, чтобы он однажды в 37-м году поехал в Норильск, где Юрий Николаевич и вырос, гоняя мяч под командой великого футболиста и зека Старостина и споря о горячей русской истории со своим сверстником, потомком бесстрашного бородинского героя, который по легенде в роковую минуту поднимал в атаку своих малолетних детей. Куранов напишет потом об этих спорах в жесткой последней книге «Дело генерала Раевского». У него слух был острее, чем у меня, только догадывавшегося тогда о настоящей глубине текста, но, видите, и сегодня еще зачем-то оправдывающего запись тем, что Юрий Николаевич пил (а попробовал бы он этого не делать!). Он оставит это старинное русское занятие потом, когда почувствует, что выход не в этом, и уйдет из великой своей лирики в резкую честную, бросающую вызов времени, неуступчивую и в сущности одинокую прозу, которая воспротивится многим благочестивым мифам.

Разумеется, после этой увертюры я уже не смел писать в этой тетради сам. Автограф Юрия Николаевича запросил соседства. У Акакия Акакиевича Башмачкина («все мы вышли из гоголевской «Шинели») в поэтическую минуту мелькнула повергшая его в счастливое смятение мысль: а не положить ли куницу на воротник? Вот и у меня, никого еще фактически, кроме Юрия Николаевича, из высокого сочинительского мира не знавшего, явилась та же мысль: а что если?.. Очевидно, ангел благих дел, пролетая в этот час мимо по более важным делам, нечаянно задел крылом и это бедное канцелярское детище.

Автографы стали прибавляться. Стихи, рисунки, дружеские экспромты. Книга, пожив дома, запросилась со мной по домам творчества, в разные поездки — сибирские, алтайские, уральские. Она сделалась подлинно подорожник — что там найдешь при дороге? Многие записи в ней случайны, сорны, порой отговорочны, поверхностны. Но она была и целительна, как тот же подорожник. В отчаянные часы, на которые не скупится для нас матушка русская история, я заглядывал в нее, скликал друзей, воскрешал их голоса. И опять мог потихоньку жить дальше. И сейчас я решаюсь на ее частичную публикацию (тех страниц, которые перешли порог моего дома и моей жизни), потому что, кажется, они будут интересны и моим сверстникам, и тем, кто помоложе. Сам с изумлением вижу, что в случайных записях, оказывается, может сохраниться голос времени и домашняя история литературы.

А оттого, что у нас ничего по-настоящему своего

личного нет — русский человек живет весь наружу, — то и тут часто собеседники забывают о домашности альбома и вдруг начинают выяснять судьбы Отечества и мира. И это естественно и уместно, потому что всякое наше слово и суждение — зеркало стоящего на дворе дня. А психологу, вероятно, будет интересно поглядеть, как выговаривается, *проговаривается* сердце и душевное устроение человека в таком сложном жанре, как автограф. Кто уклоняется, кто «подставляется», и как они вместе разрозненно-общими усилиями чертят в конце и образ самого владельца альбома. Для этого, вероятно, следовало бы напечатать всю книжку подряд, но это уже был бы документ более психологический, чем литературный, скорее историко-архивный, чем художественно-повседневный.

Поэтому я извлеку из «Подорожника» несколько наиболее интересных страниц, в которых любопытна либо история автографа, либо фигура, оставившая его. В таком контексте автографы будут скорее поводом обернуться на те 30 лет, которые обнимает книга, заглянуть в дневники, вспомнить ушедших и обнять живых. И понять для себя, что книгу еще можно продолжить (там еще есть несколько чистых страниц), но что она, в сущности, кончилась, потому что кончилась та литература, которой она была зеркалом — литература как служение, как исповедь и проповедь, как церковь... Ведь литература была и ею с поры рождения до начала нового тысячелетия, пока она на наших глаза не перешла в товар. Быть может, и эта новая «товарная» литература нам «принесет незапные дары, и творческую ночь, и вдохно-

венье», каких искал в искусстве хозяйственный Сальери, но это уже будет другая ночь и другое вдохновенье. А то ушло вместе с тысячелетием, подтвердив неслучайность таких границ.

Страницы будут разные — где густо, где пусто. Тоже вполне как в нашей памяти, где одни люди делят с нами жизнь, а другие заглядывают на день, чтобы больше не появляться. И потом все-таки это ведь не сам альбом, а долгий вечер над ним, где одну страницу пролистнешь скоро, а над другой задумаешься, пока не окликнут.



«Хор ликующих стихий...»

Однако после отважной мысли о своем альбоме («куница на воротник») я все-таки дождался второго автографа не скоро. Слишком обязывающим и дорогим было для меня имя Куранова, чтобы продолжить его кем-то случайным. Только через год с лишним в Псков приехал замечательный поэт Павел Григорьевич Антокольский. «Здравствуй, Павел Григорьич, древнерусский еврей!» — обыкновенно приветствовал его Я. В. Смеляков. Приехал по сердечным делам. Он был романтик в ныне забытом и уже не воскрешаемом смысле (это слово уже никогда не будет значить того, что значило). Он был поэт, актер, художник и был прекрасен, горяч, нетерпелив, счастлив, несчастлив, юн и стар, каким бывает влюбленный поэт в без малого восемьдесят лет. Даже печальнейшее, последнее, недописанное стихотворение, завершившее его посмертное издание, было о той, позвавшей его в Псков, любви:

Нечем дышать, оттого что я девушку встретил,
Нечем дышать, оттого что врывается ветер,
Ломится в окна, сметает пепел и пыль,
Стало быть, небыль сама превращается в быль.
Нечем дышать, оттого что я старше, чем время...

Но тогда сердце еще было в полете и счастье, и ветер еще полнился светом.

Его любили на первых поэтических Пушкинских праздниках за этот жар, пламень, молодость и звали каждый год. Он уже с вокзала звонил Семену Степановичу и приветствовал его по-французски и дальше уже так по-французски и строчил. Город в Пушкинские дни с большим количеством иностранцев напрягался. Гостиничные телефоны брались под контроль (поэт — лучшая маска шпиона). Старики озоровали, а люди в форме каменели и ждали окончания праздника.

Потом Павел Григорьевич будет рекомендовать меня в Союз писателей. Только представить — человек девятнадцатого столетия! Не зря я иногда чувствую, что мне два века.

А содержание стиха в тетради беззащитно отражало причину его приезда, счастья дара и несчастья возраста. И вечное чудо, и печаль любви («И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной» — как писал тот, кто был навсегда молод, кто не знал печального заката и к кому каждую весну они ехали на Пушкинский праздник).

Дикий ветер окна рвет.
В доме человек бессонный,
Непогодой потрясенный,
О любви безбожно врет.

Дикий ветер. Темнота.
Человек в ущелье комнат

*

Дикий ветер окна рвет.
В доме человек бессонный,
Непогодой потрясенный,
О любви безбожно врет.

Дикий ветер. Темнота.
Человек в ущелье комнат
Ничего уж не помнит;
Он – не тот. Она – не та.

Темнота ожесточась
Ломится к нему нещадно, –
Но и бранью непечатной
Он не брезгует сейчас.

Хор ликующих стихий
Непомерной мощью дышит.
Человек его не слышит,
Пишет скверные стихи.

Валентину Курбатову с уважением и нежностью на добрую память.

П. Антокольский
9 марта 76
Псков

Ничего уже не помнит:
Он — не тот. Она — не та.

Темнота, ожесточась,
Ломится к нему нещадно, —
Но и бранью непечатной
Он не брезгует сейчас.

Хор ликующих стихий
Непомерной мощью дышит.
Человек его не слышит,
Пишет скверные стихи.

П. Антокольский
9 марта 1976, Псков

И опять, как впервые, я слышу в его привете — «уважение и нежность». Какое странное сочетание и как бьется в этих словах человек, соединивший два века.



Ангел-хранитель

Семен Степанович Гейченко и сейчас, через десять лет после смерти, — явление в музейной культуре живое и действенное — с прекрасной мифологией, яркими легендами, неизбежной долей вымысла, которым он и сам владел совершенно, вчитывая в историю поэтические подробности, которых, как ему часто казалось, она была лишена.

И это было естественно и убедительно, потому что он и в воспоминаниях жил в осязательной полноте быта. Воспитанный в дореволюционном Петергофе, он после революции с дипломом Петроградского университета вошел в недавно недосягаемые дворцы смотрителем, когда все еще было «теплым» после едва вышедших хозяев, и успел узнать всех царских лакеев и выведать у них домашнее, только им видное устроение государева дома. А с легкой руки и по благоволению царского повара Ивана Петровича Семечкина смог оценить даже и тонкости императорской кухни.

Может быть, нынешнему чувствительному к тонкостям воспитания вкусу (откуда только тонкость взялась?) покажется странно и смущающе, что дворцовый смотритель за годы петергофской работы и за

всеми столами посидел, и все мундиры перемерил, и царские парики и ордена поносил, и даже о дворцовых «ретирадах» мог сымпровизировать опущенную предшествующими историками быта главу, из которой было ясно, что и в этих уединенных местах государи оставались вполне «самобытными» и согласными с вкусами века. Да и сам он, вероятно, тогда и помыслить не мог, как отзовется это «вещественное» зрение на склоне жизни. Но эта внешне странная и напрасная школа оказалась незаменима в формировании музейного дара, которому, без сомнения, нет и, похоже, уже не будет аналогов. Уже тут, несмотря на неприязнь современных специалистов к такому музееведению, его вела судьба и навсегда определившееся призвание.

И вот за без малого пятьдесят лет его михайловской жизни (он был назначен в Пушкинский заповедник в 1945 году) вернулось не только все, что было унесено войной, но, как мнилось противникам (а их у него всегда было много, что первичнее и очевиднее всего говорило о живой силе и подлинности того, что он делал), и много «лишнего», что сегодня исподволь выводится из михайловского обихода, странным образом унося и тайну жизни этого единственного в своей свободе и убедительности музея. А тайна просто была в том, что он сам *не хозяйствовал* и не директорствовал тут, *он тут жил* и входил в пушкинский век опять по своему обыкновению не с одного книжного крыльца, а из всей полноты здешнего мира, находя и всякому облаку и дереву его «законное место» и выспрашивая у них, как быть равным им в естественности и правде.

Сама по себе жизнь ему казалась в музее дороже имитированной подлинности и именно потому, что он добивался жизни, он добивался и убедительности. Он поднимался и во второй этаж совсем новенького Ганнибалова дома в Петровском и морщился от этой новизны, пока лестница вдруг не заскрипела: «А-а, слава Богу, матушка моя, скрипи, скрипи!», и еще попрыгал на ней, порасшатывал, чтобы скорее «хозяева» могли позабыть о новоселье и принять Пушкина в «старом» родовом гнезде. Ученый со своим вечным «почему» с первых его дней здесь неразрывно соседствовал в нем с хранителем и художником, спрашивающим при этом еще и «как», чтобы наука оборачивалась поэзией, без чего здесь все будет неправдой.

Я скажу вещь для пушкинистов сомнительную, но уж что чувствовал и видел, то и говорю: Михайловское было домом Пушкина именно потому, что оно было домом Гейченко, *своим* домом, жильем, а не мемориалом, и хранитель был не слугой, а товарищем поэта, его «домовым», ангелом-хранителем. Не зря так часто люди, писавшие о Гейченко, утыкались в пушкинский завет ему (ему, ему!):

Храни селенье, лес и дикий садик мой.
...Ходи вокруг его заботливым дозором.
...Люби мой малый сад...

«...Храни, ходи, люби...» — то есть живи тут! Может быть, здесь жил теперь не тот Пушкин, но разве Пушкин один? Долгий опыт любой жизни говорит, что в каждом человеке сто человек, а уж в ге-

нии, верно, это «население» и того больше. Один из ста Пушкиных тут жил непременно, и не в укор будь сказано иным музеям, жил поздоровее, повеселее, посчастливее, чем в Москве и Петербурге, Кишиневе и Болдине, потому что его принимали тут не как «ваше превосходительство», не как «национального гения» и «славу России», а как своего доброго хозяина и собеседника, который поездил по России, помучался при дворе, поревновал и постререлялся, а теперь мог и отдохнуть в родовом гнезде, собрать душу под заботливым взглядом своего старого, угадывающего всякое желание с полуслова «управляющего».

Как часто, бывало, приезжие пушкинисты, а иногда и свои потихоньку (а в последние годы, когда директор ослаб, и вслух) ворчали, что вот и того при Пушкине здесь не было, и это было не так, а люди все шли да ехали отовсюду, и все было для них по-пушкински и как надо. Ну на это можно заметить: дураки, так чего. А только ответ будет не тут. Еще уж одну дикость позвольте: для остальных музеев, может, это и не годится, но здесь, при редком согласии хозяина и «домового», выходило как-то так, что все приживалось и ты поневоле думал: ну да, при Пушкине не было, потому что он был тогда молод и этого было не надо, а вот теперь, когда он совсем в Михайловское вернулся, очень даже надо. В том-то и дело, что директору нужна была не консервация, не восковая фигура невозвратного Михайловского, а живая усадьба с длящейся, естественно скрепляющей два времени жизнью, чтобы вороны, как два века назад, кланялись востоку с криком

«аллах», ласточки щебетали «мир вам», аисты пели на заре жалостливое и приятное, кот Васька ходил по усадьбе в специально сшитых на цепкие лапы сапогах, чтобы не хватал птиц, мельница ждала урожая, бездомный гость мог найти приют в садовом флигеле, соседние усадьбы сверкали окнами и хрустели крахмалом скатертей на случай пушкинского порыва приехать. В них, в гении-обитателе и хранителе дома этого гения, неизбежно должно было явиться и много общих черт, особенно в том, что касалось веселых действ, домашнего театра. Пушкин шел на ярмарку цыганом, а к тригорским барышням мог примчать и монахом. Так и в семейных альбомах Гейченко можно найти его и царем Максимилианом, и «грузином», и деревенским гармонистом. Когда я прочитал в одной из его новелл, как Пушкин, воротясь из Тригорского, подошел к окну своего кабинета, окликнул негромко: «Пушкин, ты где?» и сам себе ответил: «Тут я!» — и прыгнул в окно, я тут же вспомнил другой дом — петергофский, где жил Семен Степанович до войны, в пору работы в музеях дворца. Мы ездили туда лет тридцать назад, и, когда шли мимо этого дома, Гейченко грустно посмотрел на чужие теперь окна и позвал шепотом: «Се-ня! Семе-он!» Потом махнул рукой: «Дрыхнет, наверно, или к девкам пошел, ну и черт с ним!» Шутка вышла невеселая, и для меня иначе осветилось и пушкинское дурачество — хорошо бы застать себя молодым и счастливым. И каждая встреча с михайловским хранителем побуждала зорче глядеть на Пушкина и отчетливее видеть его сердце.

Это была пушкинская закваска, свойственная,

вероятно, всем, кто входил в жизнь поэта надолго и кто сам владел редким, оказывается, в человечестве искусством жить, которое дается не всякому, а лишь тем, кто умножает радость мира. Кстати, вспомнилось, как Каверин писал о Тынянове, что тот обладал «редким даром перевоплощения и смеялся сам и смешил других, так что как живого вы видели перед собой любого из общих знакомых, а когда он стал романистом — любого героя». Если вспомнить, что Тынянов еще был мастером копировать подписи, то я уж и не знаю, не о Гейченко ли это написано. И это искусство импровизации, и дар перевоплощения, и это копирование. В этом последнем пункте только разница, что Гейченко не подписи копировал, а передразнивал целые документы.

Долгие годы перед восстановлением Петровского занимаясь Ганнибалом и совершенно сжившись с ним, Семен Степанович однажды написал его утреннюю молитву о здравии крестного отца Петра I. И она долго вызывала почтительное замешательство «ганнибалистов», которые не знали у арапа этого документа и не знали, верить ли глазам, видя его «вживе» — полуистлевший лист, писанный уверенной рукой старинного каллиграфа, смущающий разве только уж очень откровенным подмигиванием преувеличений: «Священного Российского государства автократору, злодеяний прогонителю... царства прибавителю, ордена святого апостола Андрея основателю и иных орденов кавалеру, Преображенского полка верховному хилиарху, обоего войска Марсу, державному Нептуну на четырех морях, отцу моему во святом крещении всенижайший раб Аврам Пет-

ров и весь род его молебное молитвословие ко Господу приносит в доме всяк день до скончания века». А в «чайном храме» на веранде директорского дома, где толпилось сотни полторы самоваров, Аврам Петров подписывал рескрипт «о чайном питии повсеместно», а подтверждал сей «документ» «подканцелярист Семен Енчиков».

А те, кто сиживал, бывало, в этом «чайном храме», часто оказывались свидетелями простого чуда рождения очередной истории, которую потом находили в очередном издании книги «У лукоморья», которая и посейчас не только прекрасный портрет деревенского Пушкина, но и автопортрет автора. Я прочитал как-то у югослава Меши Селимовича об одном из героев его известного у нас романа «Дервиш и смерть» слова, которые тотчас помимо воли перенесли меня туда, в «чайный храм» на краю усадьбы, в пору, когда хозяин был еще крепок и вьюга вдохновения несла его: «Знания текли из него рекой, заливали потоком, на тебя обрушивались имена, события, жуть охватывала при мысли о толпе, которая жила в этом человеке так, словно бы она существовала сейчас, словно бы это не были призраки и тени, но живые люди, которые непрестанно трудятся в какой-то ужасающей вечности бытия».

В этих беседах, в много отразившей чудной гейченковской книге — отгадка михайловского чуда, рецепт свободы и радости, счастливое доказательство возможности быть в истории дома. И здесь же тайна этого чуда, потому что никак нельзя было понять, где он берет силы сохранять страстную взволнованность и молодое вдохновение при мелочности

и вздорности «казенной» жизни, при пустословии высших и злой неприязни низших, при частой усталости от злого непонимания и последовательного сопротивления.

Последние два года его жизни были темны. Усталость перевешивала, но душа все расходилась с возрастом, все вспыхивала и мучила молодостью. И звала, звала к столу, потому что все казалось, что не записано все самое главное, тогда как оно уже было в его письмах, в нашей памяти, в нашем новом понимании Пушкина и мира, явившегося благодаря ему, его великому труду. Если бы теперь все собрать и обдумать, эта прекрасная жизнь была бы дописана. Но, увы, нашего сердца и нашей памяти хватит ненадолго. Ни любовь, ни дружество, ни даже чувство утраты уже не проникают сердце насквозь — скорее отмечаются в нем, будто в книге приезжих. Мы теперь скорее знаем чувства, чем переживаем их. Душа почти нарочито делается забывчива, будто защищается, чтобы полегче переносить слишком подвижную, нравственно нечистую жизнь. Учишься защищаться от зла, а теряешь память.

Я любил слушать его. Вот только малая малость из слышанного, чтобы дать почувствовать повседневную свободу этой мысли.

— В Петергофе стояли четыре полка — уланский, драгунский, лейб-гвардии конно-гренадерский (наш) и специальный сопроводительный. У нас в саду был курятник, и я с него видел, как Государь выезжал на прогулку: казак впереди, казак сзади. Я выбегал и сни-

мал шапку, Государь делал под козырек. Я пробегал дворами и перехватывал его еще раз и опять снимал шапку, и он опять, улыбаясь, брал под козырек.

— А пол-улицы были евреи. Это уж когда Европа в войну укорила нас в антисемитизме, и С. Ю. Витте взял на должность заместителя начальника штаба армии еврея. И у нас они поселились на Дворцовой — зубной врач Иосиф Абрамович Берлин, «Фуражки, шапки, шляпы» — Шифман, «Ювелир. Починка часов» — Клаузо, «Военный и статский портной» — Спелинский... Дальше была синагога, и балбесы Берлины, с которыми мы вместе учились в гимназии, звали нас на еврейскую Пасху. Надо было только брать свистульки, барабаны, гармошки и трещотки и в час радостного Исхода всем разом свистеть, бренчать, тренькать и барабанить. Зато потом они ходили к нашей Пасхе и на «Христос воскресе!» вместе с нами орали «Воистину воскресе!» Так улица и шла: дворец Государя, дома министров, кавалерственные дома (кавалеров высших орденов), полки, а там евреи и евреи — все уживалось как в России — на одной улице...

— Первая война началась классически: общим плачем, боевыми трубами, молебнами. Кони, сабли, выступления на вокзалах, задорные крики. Наш преподаватель в Петергофской гимназии немец Тилек выпрямился и стал носить голову выше прежнего. Он не боялся за свой фатерлянд, но немца никто всерьез не брал. «Жил-был толстый немец Тилек по прозванью «Бочка килек» — вот на какую монету разменяли его пафос петергофские мальчишки. Поляки Стефановичи

заволновались, засобирались, запели «Ещще Польска не згинела», мобилизовались и пропали. Француз Добровольский (француз, положим, русский, но все француз) тоже замурлыкал: «Аллонс, анфан, а ла Патрия» и тоже наладился из Петергофа, но скоро воротился с Георгиевской лентой, о войне уже не заговаривал и скоро застрелился.

— Так и революция. Преподаватель музыки Гинзбург явился в класс, сверкая глазами. Он провел бессонную ночь и принес гимн. Слушайте: «Все мы братья, все мы братья! Мы один народ! Смело против самовластья мы пойдем вперед!» Ему не сиделось, надо было петь, идти вперед, звать к свободе. Он ушел и пропал в боевых днях без следа. Директор гимназии Михаил Иванович Шубин — генерал, ваше превосходительство, из тех, кто моему детскому воображению представлялся александрийским столпом, опорой мира, сидел у моего отца на кухне, опустившийся, почти мертвый, и спрашивал: не поднесет ли ему отец, и, торопясь, выпивал, проливая на грудь. А инспектором был у нас Михаил Михайлович Измайлов. Он был автором первого путеводителя по Петергофу, и, по улыбке судьбы, мы потом работали в петергофских дворцах в одной должности — младшего научного сотрудника.

— На объединенных учениях фронтов командующим предложили дворцы. Тухачевский выбрал штакеншнайдеровский. «Скажите, а старые слуги еще живы?»

Слуги были явлены и во время учений баловали маршала царским смотрением. По окончании он пригласил

всех в приемную и по очереди звал в кабинет. Там, кося глазом в приготовленный список, подымался навстречу.

— Анастасия Тимофеевна, я благодарен вам за материнскую заботу. Примите в знак внимания.

— Петр Никифорович. Я благодарен вам за отеческую... Примите...

— Марфа Тихоновна — за материнскую...

— Сергей Тимофеевич — за отеческую...

Примите, примите, примите... конвертики, перстеньки, чашечки, статуэтки...

«Отец, кормилец, барин, никогда не забудем».

— После революции весь Невский от Садовой до Дворцовой был вымощен плитами трех разоренных кладбищ, и под ногами кричало: «Помолись за меня, бедная Сашенька», «Упокой, Господи, душу раба Божия действительного статского советника...» Пока не возопили сами люди, уставшие попирать родной прах. Об этом что-то все никто не пишет. Некогда нам покаяться, хотя без этого ни человеку, ни народу не жить.

— Каковы были главные русские музеи? В избе был домашний музей — красный угол, где хранились дорогие иконы, венчальные цветы, памятки рода. А в городе — церковь, куда каждый нес самое дорогое и перед кончиной вкладывал иконы, или посуду, или книги: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое». А у царей — у каждого! — был свой сундук, где хранились их первые пеленки, первые цветы, первые бальные перчатки — все первое. И плюс то, что каждый оставлял первого России. У Елизаветы лежала пе-

чатка туалетного мыла, потому что до нее мыла в России не было — это благословила она. У Александра I — первая ученическая тетрадь, пошедшая потом по русским школам, и т. д.

— Кого вы считаете сейчас настоящим поэтом? Я думаю, что, может быть, последним был Ярослав Васильевич Смеляков. Это был большой поэт. Однажды мы с ним подрались. Да-да. Он пришел как-то во время Пушкинского праздника. «Дайте, — говорит, — попить или выпить — все равно чего». Я дал. Он хватил водки, и мы разговорились. И я говорю: «Как вам не стыдно! Что вы такое написали про Наталью Николаевну? Будь жив Пушкин, он бы давно вас застрелил, потому что обычный кодекс чести предполагал, чтобы твою жену не полоскали по ветру». — «А что, разве не правда?» — «Не знаю,— говорю. — Правду знал один человек, которого Пушкин пригласил за день до смерти, чтобы исповедоваться перед переселением в неведомый мир, куда надо приходить чистым, но этот человек знал свои обязанности и унес эту правду в могилу. А что же, — говорю, — вы-то с поэтом так обращаетесь?» Ну тут он завелся и толкнул меня. Тогда я ему сразу — бац! Справа здоровой рукой. Хорошо, влетела жена. Потом появилось его стихотворение «Извинение перед Натали». Иногда пушкинисту нужны и такие аргументы.

— Я очень разочаровался в социализме. Так верил, так радовался, когда работал, придумывал. А человек остался вероломен, лжив, коварен, зол, как был. Ленин говорил, что для преображения России нам нужно сто

тысяч тракторов. Сейчас у нас их миллионы, а где же преображение-то. Нет, можно всех накормить, одеть (хоть трудно, но можно) даже и в меха и бриллианты, а вот тут (рукой в грудь) так быстро ничего не меняется. Тут даже наоборот — все к последним временам, всему пришел край...

Если бы не Пушкин.

«...Если бы не Пушкин...»

Они теперь так и останутся для знавших Семена Степановича неразделимы. И не в одном Михайловском.

Есть горькая справедливость в том, что они лежат неподалеку друг от друга — один на Святой горе, другой на Ворониче и один ветер шумит и шумит в кронах осеняющих их последний приют деревьев.

А его стихи, несчетные дружеские послания были данью гению места. Воздух был заразителен. Но Семен Степанович знал, что здесь соревноваться можно только в дурачестве, в эпиграмме на «оплошного врага». Да еще в улыбке над собой, увы, давно обогнавшем опального поэта по летам.

Заклинание

В. Курбатову

Вихры и чуб в ...надцать лет
Приглаживай до лоска.
Их в 50, увы, уж нет —
Не нужна, брат, расческа!

Заклинание 25 VII 77

В. Курбатову

Вихри и чуб в ...надцать лет
Приглаживай до лоска
Их в 50 уж нет
Не нужна, брат, расческа!

Цель в ...надцать лет
Мечта одна
Коньяк, шашлык, поэзия
А в 50 — уж и ах —
Морковная трапезия!

Цель в ..надцать лет
Хлопот, вагон
И с плюшем и [illegible]
А в 50-ых, миль пардон
Все дело в нафталине!

Жик в ...надцать лет
Таскают клад, камней огромному
боку
А в 50 — она лежит
И в печени и почках / [illegible]

Ведь в ...надцать лет
Мечта одна —
Коньяк, шашлык, поэзия.
А в 50, — увы и ах —
Морковная трапезия!

Ведь в ...надцать лет
Хлопот вагон
И с платьем, и штаниной,
А в 50 — эх, миль пардон,
Все дело в нафталине!

Так в ...надцать лет
Таскают клад,
Камней огромну бочку,
А в 50 — она лежит
И в печени, и в почках!

25 июля 1977

Легче прощаться с улыбкой. Так лучше помнишь. Он знал это раньше нас и шутил, пока были силы. Тоже у Пушкина учился. Как в петергофские дни, как в михайловские. Всегда...



«...НА ОДНОМ ФРОНТЕ»

Автографов Виктора Петровича Астафьева в «Подорожнике» будет два. И тут я их тоже разведу. Разное время, разные поводы, разное напряжение.

Мы познакомились с Виктором Петровичем в 1974 году. Потом я написал о нем книжку и первое предисловие к первому его собранию сочинений (вторая рекомендация в Союз писателей была у меня от него). В 1978 году вышло первое отдельное издание «Царь-рыбы». На следующий год — Государственная премия. Разговоры. Автографы. И чтобы все не переспрашивали, что за царь-рыба такая, он сочинил такую «осетровую» подпись и долго подписывался ею. А я вдруг вспомнил, как он подписал свой первый договор в молотовском издательстве в 1952 году (день в день с днем смерти через пятьдесят лет) на книжку, которой еще и названия не определил (назвал, было, «В одном ряду», позднее вписал «Простой человек», а вышла она и вовсе под именем «До будущей весны»). Так вот там он не расписался даже, а «нарисовал» подпись — словами не передразнивать — такая была в ней «неброская» обдуманность, экономное щегольство: одна буква вписана в другую, слово он Дюрер какой. С этим часто бьются молодые художники, пока слава не ос-

вобождает их от этих честолюбивых забот. Скоро она освободит и его.

Но пока он играет подписью. Не угодно ли: царь-рыба! Но самое-то занимательное на странице не в этой уже свободной, сознающей свою силу подписи, а в той, что пониже и поаккуратнее, — в подписи, выработанной долгим опытом властного подписывания высоких казенных бумаг и решения стоящих за бумагами человеческих судеб.

...День был торжественный. У Виктора Петровича был творческий вечер в Ленинке. Мне надо было говорить вступительное слово (как же, предисловие к собранию сочинений писал!), и я так волновался, что показалось, все погубил, хотя никто, верно, и не заметил моих метаний, потому что ждали-то Виктора Петровича. И вот я погибал от стыда в коридоре, а Виктор Петрович там, в зале, смеялся, читал, отвечал на вопросы, был, как всегда, весь открытость и счастье. Тут ко мне и подошел породистый человек из тех, чью породу узнаешь по бульдожьим складкам щек, которые кладут воля и власть.

— Позвольте представиться: Дмитрий Трофимович.

— Валентин Яковлевич.

Что-то в моей реакции ему не понравилось. Он прибавил:

— Шепилов.

Я сказал:

— Курбатов.

Он посмотрел еще раз и улыбнулся без света — только для скорейшего осознания мною ранга собеседника и прибавил: «Примкнувший к ним». Я тотчас вспомнил. Теперь вряд ли уже кто и помнит тот последний дворцовый заговор против Хрущева, в ко-

тором принимали участие еще крепкие сталинисты: Молотов, Маленков, Каганович. И вот последним был он. И когда заговор раскрылся, его так и писали в конце списка: ИпримкнувшийкнимШепилов.

— Познакомьте меня с Виктором Петровичем. Самому неловко...

Вечер закончился. Я представил их друг другу, и мы пошли выпить по рюмочке к тогдашнему директору библиотеки. И все бы ничего. Но на беду скоро выяснилось, что Виктор Петрович и Шепилов воевали одно время под Сталинградом. Только Виктор Петрович со своими сибиряками чуть не с эшелона оказался в бою, и после каждого выстрела по врагу они «банили» орудия еще наполеоновской руки, а Дмитрий Трофимович был вон где — в поднебесье штаба. И поскольку Виктор Петрович штабных всегда не любил, то он и тут пошел рассказывать одну историю страшнее другой и все приговаривал: да что это я Вам-то, Дмитрий Трофимович, рассказываю — мы же на одном фронте воевали, каждой историей все злее подчеркивая, что эти фронты были разные. А когда, делаясь мрачнее и мрачнее, Виктор Петрович дошел до воспоминания, как они бежали жалкой оставшейся группкой в едва обмятых сибирских полушубках, ища укрытия, и в очередной раз с усталой неприязнью спросил: «Что же я Вам-то?..» — Шепилов бросил вилку и вышел не прощаясь: «Спасибо, сыт!»

Хорошо, я успел подсунуть «Подорожник» пораньше. И тоже ведь книжка только начиналась — впереди бездна страниц — пиши на здоровье на следующей.

— Нет, я уж, знаете, тут, сбоку.

И тут примкнул.

22 января 1979 г.

г. Москва



«В глуши, во мраке заточенья...»

Его звали Борис Львович Брайнин. Он работал в немецком отделе «Правды» под псевдонимом Сепп Остеррайхер (Австриец). И действительно был австрийцем. Судьба свела нас за одним столом в доме творчества в Дубултах. Я потом исписал его воспоминаниями целую тетрадь. Шуцбундовец, он бежал в 1934-м из Вены накануне гитлеровского ареста в «единственно свободную» тогда страну и сел у нас сразу. Попросту был снят с поезда и просидел до 1956 года. Выучил здесь язык настолько, что однажды выиграл у уголовников конкурс матерщинников (сказывалось знакомство с Зигмундом Фрейдом и учеба у него).

— Все у них было честь честью. Стол под красной скатертью, графин с водой, «жюри» с председателем по кличке Москва. Приз висел на столбе — кусок копченой колбасы. Это было уже в конце войны, а я не видел колбасы с Вены. И я попросил слова. «Фраера не допускаются! — отрезал Москва, — но, видя мой взгляд и то, что я с ботинками весил сорок два килограмма, снизошел. И я сказал! Наверное, это было что-то обыкновенное и, как я теперь догадываюсь, странное только в моих неумелых немецких устах.

Москва без обсуждения с «жюри» снял приз и отдал мне. Я съел его в женской уборной для персонала и тут же оставил страшным поносом — организм не принимал. Но Москве я был благодарен.

История по лагерным временам обыкновенная. Имя неизвестное. И я бы, может, и не стал печатать этот автограф, когда бы не Михайловское, которое чаще других будет осенять «Подорожник», когда бы не Пушкин...

Борис Львович был добрым человеком, и оттого в его рассказах все были добры (так будет потом у Анастасии Ивановны Цветаевой в ее лагерных рассказах). Так вот, чтобы не увязнуть в подробностях, скажу только, что он умер православным человеком, его крестил псковский священник, когда-то учившийся у него в Тюмени и узнавший от меня, что Борис Львович жив. Мир тесен, и все мы в нем родня.

— Когда мы после лагеря уже по окончании войны были на поселении, надо было косить сено для лагерных лошадей. Это было счастливое время. Мы спали на покосе в шалашах. И однажды ранним-ранним утром, встав до ветру, я вдруг увидел, что охранник читает книжку. А я уже забыл, как выглядят книжки. Нам давали на курево старые газеты (трех-четырехлетней давности, чтобы нельзя было извлечь никакой полезной информации). Мне стало даже больно от желания подержать в руках, а еще лучше почитать книгу, о чем бы она ни была. Я не могу этого объяснить — наверно, это можно было бы приблизительно сравнить с чувством, если бы вы увидели человека с книгой в диком, опасном, не «книжном» месте. Он бы

сразу стал вам братом. И я сразу сказал «брату»: «Охранник, дай мне, пожалуйста, эту книгу, а я отдам тебе отлично высушенную газету на курево». Я видел, что он отрывал от нее страницы на закрутку. Охранник оказался прекрасный человек. Он сказал: «Стой там, я положу книгу сюда, сам стану сюда, ты положишь газету сюда, и смотри у меня!» В общем, мы поменялись.

Книга была без обложек и многих страниц. Это были стихи! Я бросился читать. Это был «Евгений Онегин», которого я как-то знал по случайным обмолвкам и шуткам зеков. Я читал ее целый день. И меня не выгнали на работу, потому что у меня сразу поднялась температура, началась сыпь, я как-то страшно заболел весь. И лекпом выписал мне освобождение на три дня. Надо мной смеялись и приходили дразнить меня, но это были три счастливейших дня в моей жизни. Я вспомнил, как может действовать великое слово, от которого я отвык. Я стал бояться разговоров и не мог прийти в себя. И тогда я дал клятву, что если выйду из лагеря живым, я обязательно переведу эту книгу на родной немецкий язык. И я вышел, и у меня уже вся жизнь была здесь, в России, и мне нечего было делать в Вене. И я перевел «Онегина» для здешних немцев. Потом, конечно, узнал, что есть лучшие переводы, но от этого я был только счастливее, хотя люблю больше свой. Он мне роднее.

Я же только скажу для читателя, что записана здесь первая строфа «Онегина»: «Мой дядя самых честных правил...»

Aus «Eugen Onegin»

Aus „Eugen Onegin“:

I

Mein Onkel, ehrlich allerewegen,
als er erkrankte ohne Spaß,
da ließ er sich gar sorgsam pflegen –
und trefflich ausgedacht war das!
Sein Beispiel sei euch eine Lehre,
doch welche schreckliche Misere,
bei einem Kranken Tag und Nacht
am Bett zu sitzen auf der Wacht.
Mit welcher Qual läßt sich's vergleichen,
zu unterhalten ein Skelett,
zu richten ihm das Federbett,
ihm die Arznei betrübt zu reichen,
dabei zu denken still für sich:
„Wann holt denn nur der Teufel dich!“

На память Валентину Яковлевичу
от переводчика

Sepp Österreicher

Малеевка, 29/4 82 г.

СТАРШЕ, НО МОЛОЖЕ...

В 1981 году «Советский писатель» предложил мне написать книжку о М. М. Пришвине. Я приехал в Коктебель, где Михал Михалыч бывал в тринадцатом году, надеясь зацепиться здесь за что-нибудь для крымских глав его жизни. Ну и, конечно, как все провинциалы, незаметно поглядывал по сторонам — нет ли кого из великих (тогда еще были «великие»). И вдруг шепот: «Анастасия Ивановна Цветаева»! Гляжу: сидят за столом две старушки, едят старушечью кашу — бедные, похожие. И вышли так же вдвоем — соломенные шляпки, усеянная «гречкой» кожа — не отличишь. И потом я так их и видел неразлучными и не знал, у кого спросить, которая, хотя, вероятно, в библиотеке Дома творчества уже было первое издание «Воспоминаний» Анастасии Ивановны и можно было если не успеть прочитать, то хоть посмотреть фотографии, но уж очень торопился. И когда решился, конечно, подошел к другой: «Анастасия Ивановна!» — «Это — вон она», — сказала вторая старушка, кивнув на свою собеседницу, и смерила меня взглядом, из которого стало ясно, что никакой книжки о

Пришвине, как и вообще ни о чем я не напишу, потому что скорее из тех, кто вместо дела ошивается вокруг «имен». Дальше спрашивать было уже неловко. Я извинился. На другой день мы встретились с Анастасией Ивановной в церкви в Феодосии, я проводил ее и был прощен. О Пришвине ничего не узналось, но зато проступил старый крымский быт.

— Вы напрасно ищете могилу хаджи, о которой писал Михал Михалыч. Я сама на ней не была, но знаю от Макса, что такая точно была и, может быть, есть на Святой горе — оттого и Святая. О ней есть в стихах Марины одиннадцатого года. Сейчас там заказник — не пройдешь

— А трактир «Славны бубны» был вот тут, — тычок палкой в сторону набережной. — Тогда никакой набережной не было — только лавчонки и трактиры. Я помню эти «Славны бубны». А Михал Михалыча не помню. Я была здесь в одиннадцатом и четырнадцатом — мы разминулись. Спросите лучше у директора. Хотя в дом ходить нельзя. Я еще в сороковых часто слышала от Марьи Степановны (жены Волошина. — *В. К.*): туда не ходи, сюда не ходи, здесь дыра, там дыра....

Она обещала еще посмотреть дОма, в Москве. В первый же день в Москве я летел на свидание, как было условлено, к церкви Всех Святых у Третьяковки. Анастасия Ивановна опаздывала и бежала через двор, размахивая рукавичками, которые у нее, как у девочки, были пришиты к рукавам. Увы, материалов не прибавилось.

Потом я писал ей. И писал о ее книге, которая готовилась в издательстве «Современник». Тогда еще было обыкновение писать внутренние рецензии и мне надобно было принимать на себя смелость решать судьбу рукописи Анастасии Ивановны. Книга была печальна, старомодна, как романсы Вертинского — о любви, революции, о своем, тайном, больном, невозможном, о чем так доверчиво умели рассказывать люди того поколения. Это был роман «Amor», но он был беззащитно автобиографичен, и я писал Анастасии Ивановне о необходимости защититься там, где уж очень больно и открыто.

Я и сейчас вспоминаю этот роман с любовью. Он был писан в зоне после десятичасового рабочего дня с 39-го по 41-й год химическим карандашом и мельчайшим почерком, чтобы никому не прочитать. И передавался на волю частями тайком добрыми людьми (я уже говорил, что для доброго человека — все добры). Ее срок кончился в 47-м, далее следовала ссылка — «навечно». Как, наверное, было страшно услышать это слово! Слава Богу, «вечности» в России определяются не людьми. Через семь лет ее ссылка кончилась, хотя реабилитировали ее только в 59-м.

Роман замечательно начинался. Зеки говорят о «Дворянском гнезде»: «А вы знаете, где я читала недавно это самое «Гнездо», притом по-немецки? Ни за что не догадаетесь! В Бутырках! «Das Adelsnest». В чудесном переводе».

Нам этого уже не представить. Лагерь, ссылка «навечно», голод, эмиграция. Крым, Париж, смерть

сына — этот роман собрал все. И этот навсегда ушедший стиль: «О, нет, — говорит она себе. — Будь смела и чиста!» И она берет лист бумаги:

«Мой дорогой друг. Вы знаете мое отношение к Вам, — знаю, что знаете. Вы зорки и тонки, и опытны... Я так и двинулась к Вам навстречу...»

И так все: нежно, горестно — про «него», про «них»:

«А с утра — пустыня душевная неистребимой безответной любви, оазисы мирных встреч...» «...Объятье простое и жаркое было ему куда нужнее этих готовых на жертвенность чувств».

Она отвечала немыслимым нечитаемым почерком (ей шел 94-й год), и я был счастлив прочесть (простите мне это хвастовство) «переписка с Вами мне добра и желанна». И всегда просила отвечать сразу («Если не сразу, подумаю, что Вас нет, и встреча уже будет не здесь, а там»). А в другом письме боль вырвалась даже на лицевую сторону конверта: «Стала старая, древняя. Здорова была до 93 лет. Боли терплю, зная, что если бы Бог счел нужным, то снял бы их. Значит, надо еще при жизни платить за зло. Жизнь-то была великая».

А через год в Малеевке я уже подошел к ней на правах старого знакомства. Был принят в номере и уже держал под мышкой заветную тетрадь. Анастасия Ивановна сказалась не очень здоровой, измерила температуру и всплеснула руками: «Боже, у меня жар!» Градусник показывал тридцать шесть и пять. Оказывается, у нее была то ли после лагерей, то ли от рождения пониженная температура. Она

взяла тетрадь, открыла чистую страницу и долго водила очками по белому листу, очевидно, примеряя какой-то готовый текст и считая будущие строки, — поместится ли. И написала вот это!

Мне восемьдесят лет. Еще легка походка,
Еще упруг мой шаг по ступеням,
Но что-то уж во мне внимает кротко
Предчувствиям и предсказаньям — снам.

Мне восемьдесят лет. Сие понять легко ли,
Когда еще взбегаю по холму,
И никогда еще сердечной сильной боли,
Ни головной — но сердцу моему

Уж ведомо предвестия томленье,
Тоска веселья, трезвость на пиру,
Молчания прикосновенье
К замедлившему на строке перу.

1974, берег Коктебеля

Анастасия Цветаева
1 мая 1982, Малеевка

Господи, нам бы с нашей сытой душевной гладкостью просто дожить, без ее испытаний, до этих восьмидесяти лет! А не то, чтобы сохранить такой чистый ум и чудесную силу дара. Тотчас и вспомнил «Здорова была до 93 лет». Я потом придумал для себя, что Господь дал им с сестрой дар на двоих, — не зря они любили читать стихи Марины в унисон,

Анастасия Цветаева

Мне восемьдесят-пять! Еще легки
походки,
Еще утрам моим начало сгу-
щенным
Ничто-то уж во мне вниманья
кроткого
Предчувствиям и предсказаньям
— снам!

Мне восемьдесят лет. Еще по-юну,
легкому
Когда еще взбегаю по холму
И никогда еще сердечной боли
Ни головной — но сердцу моему
Уж ведомо предвестье томленья
Тоска весенняя, трезвость на пиру
Молчания прикосновение
К, замедлившему на строке, перу.

Берег Коктебеля,
1979 год.

На добрую память
Валерию Яковлевичу
Курбатову,
с добрыми пожеланиями!
Анастасия Цветаева

Малеевка, 1 мая
1982 г.

словно авторами были обе. И когда одна ушла, другая должна была дожить и договорить замысел этой жизни за двоих.

А в автографе как было таинственно вот это: «но что-то уж во мне внимает кротко предчувствиям и предсказаньям — снам». Мир реальный уже значил для нее не более предчувствий, предсказаний, снов... Она уже тоже была, как Павел Григорьевич Антокольский, «старше, чем время...» Но моложе, чем мы.



ШЕСТЬДЕСЯТ СЕКУНД СВЕТА

Когда мы встретились с Анастасией Ивановной в Малеевке, в соседнем флигельке работал давно любимый, но пока незнакомый Валентин Дмитриевич Берестов. Я вспомнил когда-то остро пленившую меня книгу «Меч в золотых ножнах» о его археологической юности и чудесные детские стихи, которые с первого чтения мерещились жившими в памяти всегда, и кинулся знакомиться. Конечно, «кинулся» только в душе. В реальности при неизживаемой застенчивости никак не мог найти повода, пока не решился при нечаянной встрече в коридоре спросить о великом кологривском сказочнике Ефиме Васильевиче Честнякове, тогда едва открытом костромскими и московскими музейщиками и реставраторами (сказки были живописными — тексты нашлись позднее). Я тогда писал о Честнякове, и мне хотелось услышать, как перекликаются детские души мира. Мне и сейчас кажется, что сказочники и детские поэты живут в своей вселенной, которая граничит с нашей, но не знает угрюмства взрослой расчисленной жизни, храня наше лучшее, как замысел Бога о нас.

Валентин Дмитриевич радостно вскинулся:

«Смотри, Танюша, ты только начала думать о Ефим Васильиче, а вот тебе и собеседник!»

Я уже знал, что Танюша (Татьяна Ивановна) — жена Валентина Дмитриевича, и не мог наглядеться на их бережную неразлучность. Татьяна Ивановна была беззащитно добра, и свет ее был так доверчиво нежен ко всему встречному, словно она никогда не видела зла и не знала о его существовании. В ребенке это пленяет, во взрослом человеке вызывает смущенное желание оградить, уберечь бесстрашную открытость, как защищают детей. И мне с первого дня знакомства с обоими казалось, что Валентин Дмитриевич неизменно идет на шажок впереди, как идут в лесу, чтобы отвести от идущего сзади дорогого человека жесткие ветви и первым встретить возможную неожиданность и опасность. Эта колыбельная бережность была видна всем, и они, кажется, и для всех были Валюша и Танюша, как они звали друг друга.

Мы потом много ходили по окрестностям речки Вертушинки (много, но недалеко: Татьяна Ивановна была больна, зябла и скоро уставала), и она окликала своих знакомых леших, которые, конечно, тоже были детьми, и знала всех по именам. Там были Афонька, Адонька, Сюр, Кузька и Вуколочка. Она наклонялась к первоцвету, подснежнику, волчьему лыку и восклицала радостно: «Вот да! вот красота!» — и соглашалась с чужим восхищением: «Ага-ага!»

Рисовала она совсем немного и уже одни «портреты» цветов прямо на лужайке, не трогая их, и не потому даже, что еще была ранняя весна и было

прохладно, и не потому, что уставала. Причина была проще и больнее. «Я могу нарисовать пейзаж за два часа. Но жалко — сколько можно еще за это время увидеть». Спустя несколько лет я наткнусь на письмо Г. Г. Маркеса и вспомню Татьяну Ивановну, прочитав у него: «Если бы Господь даровал мне еще немного жизни, я спал бы меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами — это потеря шестидесяти секунд света».

Она торопилась наглядеться на белый свет и пронзительно говорила: «Мир такой красивый. Он не может надоесть и в бессмертии», — и не понимала вражды людей, уверенная, что никаких конфликтов не было бы, «если бы они приехали в гости к нам, а мы к ним».

И я уже с утра ждал встречи с ними, потому что не мог нарадоваться их согласию и любви и наслушаться дивных рассказов Валентина Дмитриевича. И теперь, когда на сердце темнеет или в долгие вечера подкарауливает одиночество, я разгибаю дневник той весны и слушаю задыхающийся, астматический, молодой, неизменно радостный голос Валентина Дмитриевича и не перебиваю его.

— ...*Еще студентом я записывал народные песни в Калужской области. Тонул в частушках. В изданиях-то ведь их читать нельзя — они там по разделам, и разделы их обескровливают, потому что частушка живет перепадами — только что завернет «с картинкой», а тут же и печаль через строку. Потом я вглядывался в песни, и ведь там тоже даже в пределах одной песни по первой строке никогда не скажешь,*

какова будет вторая, а это надо было для того, чтобы в песне прожить всю жизнь во всех вариациях судьбы — «то разгулье удалое, то сердечная тоска». Пушкин звал это «лестницей чувств» и владел этим в поэзии один. Так построены «Осень», «Деревня», «Бесы» да и тьма иного.

Он не зря народную песню слушал и не зря любил проверять себя, подсунув пушкинистам загадку в письме Киреевскому, когда посылал ему свои записи народных песен с просьбой угадать среди них те, которые не поет народ и которые состряпаны им самим. Киреевский был в тупике, остальным было не легче и до сего дня, потому что перебирали весь сборник Киреевского, вели сопоставительный анализ с другими сборниками, ища недублированные тексты, а надо было только сократиться до той самой пушкинской посылки и тех именно песен, которые он посылал тогда.

Я смею думать, что нашел эти песни. И нашел благодаря этой самой «лестнице чувств». Он в обеих песнях моделирует целую жизнь несчастливца, рожденного не в любви, рано женившегося и обреченного в разбойники. Он пересаживает целые гнезда из существующих песен, но строит их по принципу беллетристического перевода народного материала — именно так, что избирает несчастливого человека, без необходимой вариантности судьбы, беря только темные гнезда разных песен и наслаивая их. Но в этой комбинации, в поставе слов это так ОН, что когда я читал песни подряд дочери, которая собиралась замуж (чего я не знал), она бледнела от догадок, потому что вариации отправлялись от свадебных песен, и, вслушиваясь, может быть, ловила что-то в ритме моего го-

лоса, хотя я особенно не подчеркивал, — и вдруг говорила: он? Это был он!

Я бросил писать надолго и стал учиться так чувствовать. Так слышал русскую песню Тургенев в «Певцах». Это слышно в самом строе рассказа. А «Лучина»! Вы послушайте ее планы! Общий, бытовой: угасание, сны, заря. И вдруг — милый! И сразу — какой слух! От дальнего: сапожки поскрипывают, ближе — шуба пошумливает, крупный — пуговки погремливают.

А сейчас я сделал еще одну работу и скоро собираюсь выступить в Политехническом. Я давно помнил пушкинскую фразу о зачеркнутых им стихах, что это не плохие стихи — они просто из другого стихотворения. Но как-то все не догадывался прочитать их как целые стихи, а не варианты. А когда догадался, оказалось — можно печатать их целый том, потому что этих других, вполне завершенных стихотворений оказалось 60!

— Ахматова не поощряла поэзию своего толка в других, предпочитая озорников и искателей. Мне говорила, что я буду писать хорошую прозу и поощряла к этому, иногда даже каким-нибудь окольным способом. Вдруг скажет: сегодня был чудный сон, я была молода и делала чудную прозу, это было упоительное занятие. А на просьбу почитать немного: «Я ее не записала».

Однажды к ней явилась Ксения Некрасова, как всегда без церемоний, потому что поэты были для нее стаей одной крови, и стала жить в проходной комнате. «Прогоните вы ее», — сердито говорили великие старухи, ходившие около и говорившие по-французски.

А Надежда Яковлевна Мандельштам даже не верила, что Ксения сама пишет стихи — «Это какой-нибудь ее безумный муж». Но Ахматова была царственна: «Поэты никого не прогоняют. Если им невмочь, они уходят сами».

— А Надежда Яковлевна, грешница, порядком врала в воспоминаниях. Часто в злую сторону, а иногда в обидную, хотя внешне лестную. Лучшие из мыслей, которые мелькали у нас в разговорах о поэзии в ее доме, мы потом видели приписанными Осипу Эмильевичу. Но, впрочем, что стоили эти пустяки перед возможностью читать в ее библиотеке чудные книги и вечер за вечером слушать еще непечатаемого тогда, ошеломляющего Мандельштама.

Пришел с шапкой:
— Тащите!
— Что?
— Номер!
Тащу, вытаскиваю какую-то цифру.
— Спасибо! Я пошел работать.
— Да постойте, Валентин Дмитриевич, в чем дело?
— Да вот с утра не знаю, про что писать, а у меня на лето набросано сто тем, не знаю, за какую взяться. Ну теперь-то уж знаю, спасибо...

Потом я спустился к нему, взглянул, — действительно, список из сотни названий, и он уже теребит вытащенный мною номер, наряжая его рифмами. А если бы я вытащил другой, он теребил бы другой — «и пальцы просятся к перу, перо к бумаге...»

Пошли гулять.

— Хотите, я покажу вам Пастернака? — и очень похоже начинает передразнивать: «Здравствуйте, Берестов, я Вас все время путаю с одним юношей. Я знаю, что он не может и не должен писать стихов. И вот увидел недавно Ваши стихи и подумал: неужели я ошибаюсь? И опять ходил смотреть на него, и опять убедился — не должен! А Вы, оказывается вот, а тот — не Вы. То-то я смотрю. А Вы вписываетесь. У меня просто камень с сердца свалился».

В другой раз: «Здравствуйте, Берестов. Мне кто-то что-то хорошее говорил о Вас. Я совсем не помню где, кто, когда и чего, но помню, что порадовался за Вас. Я не прочитал книжку, которую Вы мне подарили с такой лестной надписью. Только не сочтите за дискриминацию. Я еще не прочитал и Винокурова, Слуцкого, Евтушенко — они тоже подарили свои книги, а у меня тьма своей работы и нет никакой возможности разбирать Ваши микрометрические отличия... Господи, что я несу?..»

Присоединился к прогулке поэт Лев Смирнов: «Валя, ты знал Мура Цветаева? Кто это был?»

— Я познакомился с Муром (только он был Эфрон, а не Цветаев) в 1942-м, когда он после смерти матери приехал к нам в Ташкент, где жили мы, эвакуированные, из Елабуги. Ему было 17, мне 15. Он был мой гуру, мой кумир. Он знал море всего, чего не знал я. Он писал тогда два романа. Один начинался прощанием в Москве, другой свиданием в Париже. И из них я первый раз узнал слова «аперитив» и «абсент». Он говорил, что хотел бы, чтобы Франция знала русскую

культуру, а русская — французскую, и давал мне читать дневники Андре Жида и что-то из романов Монтерлана и Жюля Ромена, особенно один из его романов о двух чердачных мстителях, уничтоживших целый город.

Может быть, от этого романа и пересказа его и пошел слух, что он был жесток, оскорбил мать в Елабуге ожиданием прихода немцев и неуступчивостью сердца. Будто он вел даже тетрадку с именами тех, кому следует мстить. Сущая ложь. Это была обычная тетрадка заемной мудрости — собрание чужих афоризмов. Он был скуласт, смугл, элегантен, великолепно красив. Мы надумали издавать журнал «Улисс», но я был дистрофиком и заботами Чуковского был определен в госпиталь, где меня приучали есть, и так приучили, что до сих пор никак не отвыкну. Дело сорвалось. Его скоро призвали. Мы, прощаясь, громко пели «Землянку», хотя время было идейное и песня за упадничество была запрещена. И довольно скоро он погиб, поговаривали даже — не своей смертью, будто убили за дерзость характера свои. Я не знаю, был ли он хороший человек — он был красив и умен, для меня тогда этого было достаточно. И потом, он ценил мои стихи, удивлялся, что из такого «сырого материала» происходит то, чего не умел делать он, — это льстило мне, и я не могу быть беспристрастен.

Тогда Н. Я. Мандельштам, в кожаном пальто, поджарая, черноволосая, с вечной папиросой в зубах, поддразнивала нас:

— Вы до сих пор не курите? Какой кошмар! Как же вы живете? Ведь папироса — это так нужно поэту. Вот, смотрите, — и шла к первому прохожему:

«Можно прикурить?» и разом затевала разговор... — Видали? Подойдешь, и уже судьба, и Вы беседуете, и Вы в середине общения! А что скажете Вы? Как Вы найдете повод отвлечь человека от его обычной дороги?

Она учила нас английскому языку, а экзаменовать приходила Ахматова.

— Вы читали английскую грамматику? — спрашивала Анна Андреевна.

— А зачем нам? — отвечали мы. — Грамматика — это учебник, ее учат, а не читают.

— Дураки, — ласково говорила она, — всякая книжка — уже книжка, и ее надо читать, — и выдворяла нас на занятия. Надо сказать, она многому научила нас.

— Послушайте, — говорила она, раскрывая Китса, и голос ее летел вверх. — Слышите? А теперь послушайте свое. Вас надо читать на четвереньках.

Я тогда долго мучился, и однажды у меня строка полетела. Я прибежал к Анне Андреевне. Она послушала, удивилась, потом сказала: «Ну что же, голос прорезался, теперь дело за судьбой».

— Лирика стала нарциссической, и только и разницы, что объективный нарцисс продолжает: «Я помню чудное мгновенье — Перед тобой явился я», а субъективный — «Передо мной явился я».

И чуть ли не день за днем Валентин Дмитриевич развивает идею подростковости сознания человечества, утверждая, что человечеству от силы пятнадцать лет.

Возраст самый безумный в отдельной жизни, и

вот мы перебаливаем. И, между делом, в съехавшей на Толстого беседе отпускает «мо»: «Он хотел открыть Россию, а открыл Индию, потому что Ганди уверовал в его принципы вернее всех русских», и тут же рассказывает со слов своего товарища Эдуарда Бабаева, водившего группу японцев по Ясной Поляне, что те по дороге к могиле спросили: сколько до нее метров? Бабаев ответил: метров сто. И тогда они вдруг стали на четвереньки и поползли, а он дураком и столбом высился над ними и шел пастырем безумного стада, не зная, куда деть руки и колени, и с той поры отказался от иностранных делегаций.

— Мы все еще плохие читатели Библии, а между тем там уже сказано существеннейшее определение: «род людской». Человечество как родня, как семья размером в Землю. Об этом мечтают все революции, намереваясь воссоединить этот род людской «с Интернационалом», но насильственная политическая оболочка идеи всякий раз растлевает ее существо. Сейчас мы пошли в ту же сторону с другого бока, и ученые сулят через пару столетий генетический код национально перемешанного человечества. Только то же ли это самое — «генетический код» и «род людской»?

— В 1959 году поэтов собрали в ЦК. К нам вышел Суслов, эскортируемый Фурцевой и Поспеловым: «Вот какое дело, товарищи! Я пригласил вас, чтобы попросить вас написать текст нового гимна СССР. Старый, как вы понимаете, скорректирован историей. И в нем не хватает этого... Чего в нем не хватает, Екатерина Федоровна? Вы говорили, слово забыл... ах,

да — поэзии не хватает. Сейчас я дам вам несколько цифр, чтобы вы могли представить размах и величие нашего роста, наши перспективы, так сказать, а уж дальше вы сами. Тогда мы сразу заказывали поэту и композитору (вот отчего было так много песен о Родине), а теперь решили спросить вас, а уж потом на лучший текст проведем конкурс среди композиторов. Чтобы заинтересовать, скажу, что победителя ждет Ленинская премия, впрочем, и все соискатели получат по предоставлении текста по 500 рублей».

Алексей Сурков от лица товарищей заверил, что все мы теперь считаем себя мобилизованными. Все разъехались по домам творчества, заперлись по номерам и при встречах стали стыдиться друг друга. Ну а чем кончилось, вы знаете — никто не получил ни полушки.

Долго говорили об эволюции русского языка и оттенках национальной психологии. Среди разных неизбежных обыкновенностей Валентин Дмитриевич сказал: Россия всегда жила между селением и полем, полисом и полем. Сначала Русь шла в поле от татар и дани. Затем сборщиками ясака стало свое чиновничество, внутренняя татарщина, домашнее иго. Человек уходил от начальства в новое поле, но едва устраивался, начальство являлось снова. И тогда явилась новая модификация бегства — служение оставленному родному углу в оплату за суверенность, как казачество служило правительству. Сегодняшнее поле — это Москва, место, где вернее всего можно укрыться от раковой опухоли местной бюрократии. Оттого она так притягательна вольнолюб-

цам, нынешнему мужику, то есть интеллектуалу, люмпену, сменившему прежнего крепостного.

А вечером читал переводы из Мориса Карема — легкие, русские, озорные, веселые, и становилось ясно, что мы не зря говорили с Францией на одном языке два столетия — так перезванивается словарь и обнимаются смыслы при переводе слово в слово, что немыслимо и представить с английскими оригиналами.

А что же Татьяна Ивановна? А она улыбается, поит чаем, радостно слушает и нет-нет говорит что-нибудь простое и глубокое, естественное и незаметное, как свет, потому что и сама — свет.

И я вспоминаю только, что, глядя на молодые весенние деревья, засмотревшиеся на свое отражение в Вертушинке, она вдруг говорит, что это не копии, а что это — святое искусство природы, ее реализм, ее импрессионизм — по времени года и состоянию духа. Валентин Дмитриевич потом написал на эту тему стихотворение.

Или, в другой раз, мелькнет чудесная мысль, что Троица — загадка, равная Сфинксу, отгадка которой в самом человеке, и, пока мы не знаем отгадки, мы наказаны смертью, а поймем — и смерти не будет.

Но это, кажется, только раз — о смерти, а так свет и свет.

Уезжать мне пришлось наскоро, и мы обнялись на ходу в чаянии скорой домашней встречи... Этой же весной, летом...

А пока пошли письма.

«...Мы еще в Малеевке, в том же самом номере, при той же погоде и температуре, что в начале мая, даже сирень и ландыши как-то замерли, не желают ни пахнуть, ни отцветать.

Как для Вас прошли Пушкинские дни? Я таки провел вечер в Политехническом. Жуть! Выходишь один на пустую сцену, а до потолка лица, лица, лица... Держал аудиторию больше двух часов без перерыва. Довольны, наверно, не все. Я вел себя легкомысленно, шутил, что серьезному пушкинисту не положено. Физики, как говорят, шутят, а мы, гуманитарии, должны перед предметами наших штудий стоять во фрунт.

Свою радиопередачу я не слышал. Но у меня будет кассета с записью. Будете у нас, придется послушать. Сам я так прочесть уже не смогу, так как звукооператоры вырезали с пленки даже, как они выражаются, губные шлепки, из чего я сделал грустный вывод: я — губошлеп.

Пишу стихи. Пока недоволен, еще нет настоящего звука, да и «лестницу чувств» не всегда вытягиваю.

Татьяна Ивановна все работает над «Кузькой» и клянется кончить его здесь, в Малеевке. От цветов она незаметно переходит к портретам. Особенно удачно вышли два портрета Веры Николаевны Марковой, но оба, один за другим, тут же были подарены натуре.

Вера Николаевна — чудо. Переводы японцев (хокку и танка) удались потому, что она отдала японцам собственную поэтическую интонацию. Стихи ее изумительны, но от печатанья она уклоняется, не хочет

попадать в зависимость от надежд, ожиданий и треволнений, связанных с печатаньем.

Писателей все прибывает.

Обнимаю Вас и передаю слово Татьяне Ивановне.

А Татьяна Ивановна, радуясь коробке цветных фломастеров, тотчас передала привет от — и тут уже были нарисованы ромашки и колокольчики, солнышко, тучи, дождь и даже снег (с припиской «это в июне-то!») — и от целого ряда зонтов и ног («жители Малеевки на прогулке», подтверждая, что «писателей все прибывает»).

«Как Вы поживаете? Как и над чем работаете? Мы с Валюшей очень по Вас соскучились (и Боря Примеров, по-нашему, тоже). И Ваши работы — те, что читали нам, — вспоминаем. Они очень хорошие, серьезные, умные, правдивые, для людей и про людей. Мы трудимся (ежели не ездим в Москву, там как-то невозможно). Валюшенька написал приблизительно семь, по-моему, прекрасных стихотворений, всякие серьезнейшие изыскания, достойные археолога. И привет Вам от — далее следовали кувыркающиеся от солнечного озорства Кузька и Сюр, Афонька и Адонька и смирный Вуколочка.

А на отдельном листочке толклись комары синие и коричневые, и красные (против этих было написано «комар после обеда»), и пучеглазые лягушки (и в скобках — «остатки»), и цветы, и бабочки, и жуки, и сами Валюша и Танюша.

И потом еще письмо — все оттуда же.

«Из Малеевки вернусь окончательно лишь 7 июля... Очень часто вместе с Татьяной Ивановной вспоминаем Вас. Чай пьем одни и скучаем. Все здесь другое. Ут-

Кузька Вуколочка Афонька Адонька Сюр..

подснежник прилесник медуница 1982 г., май, Малеевка

Пейзаж „Малеевский майский".

Комары

комар после обеда

комар

цветы

целуем вас! и ваших!

Симверно

Ал

жуки (ползают)

ЛЯГУШКИ (ОСТАТКИ)

ром будит нас иволга. От весны осталась только песня жаворонка над Глуховым (деревня). Пруд еще спущен, но жизнь берет свое и серый ил потихоньку покрылся зеленой плесенью. После Вашего отъезда была большая волна писательских вдов. А где они сами? Вот и подумаешь, стоит ли писателям вообще жениться. Но самые одиозные люди здесь мы с Татьяной Ивановной: я — муж писательницы, она — жена писателя, сразу два персонажа для фельетонов. Помню, на одном совещании ругали писателей, которые тащат в литературу своих детей и юных родственников, и я подумал, что это безобразие началось с Василия Львовича (Пушкина), который вот так же тащил в поэзию своего племянника.

Лестницу чувств, судя по последнему письму, Вы основательно усвоили. А я сейчас занимаюсь этим делом применительно к собственным стихам. С трудом читаю «обычную» поэзию. Только фольклор. Сейчас, например, изучаю свой родимый, калужский, очень веселый и озорной.

По-прежнему очень дружим с Верой Николаевной Марковой. Читали ли Вы «Книгу легенд», выпущенную Детгизом году в 72-м? Чудо! Как там пересказан «Фауст»! Сейчас почти каждый день слушаем все новые и новые переводы японских сказок.

Поразительную зачеркнутую строку нашел в «Онегине»:

«Все ставки жизни проиграл».

Это и есть суть. Пушкин снял эту строку, чтобы «Онегин» понимался многозначно.

Вообще вопрос об игровой психологии в жизни людей и стран — сейчас для мира вопрос жизни и смер-

ти. Игру никак нельзя принимать за саму жизнь. Живя, понимать, что не играешь, а живешь. А играя, сознавать (и чтоб другие знали), что это именно игра.

За все это время написал всего семь стихотворений, сейчас принялся за восьмое. Прочел «Осень патриарха» Маркеса, узнал, что иволга — там любимейшая птичка. У нас-то ведь она живет какие-то два с половиной месяца. Но, как сказано у Даля, за морем теплее, а у нас светлее.

И внизу приписка Татьяны Ивановны:

«Тут с каждым днем лучше, несмотря на дожди! Наши корпуса звучат, как дома (вернее — города) дятлов. Ежели проза и поэзия действий отражают окружающий мир, то все должно быть прекрасно, потому что прекрасно все вокруг! Много новых хороших людей. Вера Николаевна Маркова, Елена Сергеевна Грекова, Радий Фиш и Боря Примеров еще тут (мы с ним старожилы). Но скоро, наверное, уедем. Пора и честь знать. Очень Вас помним, очень любим, и пусть будет у Вас все хорошо. Так будет справедливо».

Но поздней осенью они снова были там.

«Вот Вам ответ на «прудовую» метафору Пастернака. Впрочем, сочинил я эти стихи еще летом, сразу после Малеевки.

Спустили пруд. Не стало рыб.
Ни ряски, ни стрекоз, ни тины,
Ни отраженной той картины
С листвой и небом. У плотины
Как будто целый мир погиб.
И вновь свои изгибы вьет
Былой ручей на месте пруда,

Из-под своих же темных вод
Возникший, будто из-под спуда.

А вот стихи, написанные уже в этот приезд:

Феденька

По дорожке Феденька, по дорожке маленький,
Мчится в шубке беленькой, беленькие валенки.
Молодая пара перед ним присела:
«Ты куда торопишься, мальчик в шубке белой?»
Феденька метнулся вбок
И бежит, как колобок.
Тут над ним склонилась пара пожилая,
Ближе познакомиться с мальчиком желая:
«Ты откуда, мальчик? Как тебя зовут?
Как ты без родителей очутился тут?»
Феденька за бугорок
И бежит, как колобок.
Тети-третьеклассницы шли домой из школы:
«Ах, какой хорошенький! Ах, какой тяжелый!»
И только красотка семнадцати лет,
Его обгоняя, не глянула вслед.

В Малеевке мы до 14 декабря. Вчера (30 ноября!) нашли под черными осиновыми листьями совсем свеженькую оранжевую лисичку. За то время, пока мы не виделись, писал мало, чего-то нащупывал. Закончил две статьи «Лестница чувств» и «Шутка гения» (отгадка к загадке, заданной Киреевскому). Обе пойдут в новом году в «Советской культуре», но, к сожалению, в сокращенном виде. На этом публикация моих пушкинских находок будет закончена.

Долго и внимательно читал Н. Ф. Федорова. Будь я подростком, стал бы истовым федоровцем! Какая добрая, какая гуманная мечта! И эта жажда понять причины мирового зла! Скорее всего они, как Кащеева смерть, хоть и глубоко запрятаны, но микроскопически мелки. То ли это зло в одной-единственной хромосоме, то ли в каких-то словечках и ухватках, опасность которых еще не распознана, то ли и там, и тут.

Продолжаю вчитываться в фольклор, особенно в песенный. Только что прочел вечериночную: «Сядемте по лавкам, глянемте по девкам». Какая прелесть!

И неизменная приписка Татьяны Ивановны:

А мы в Малеевке ждем, вдруг кто-то постучится тихонько, и как раз к чаю! И баранки есть, и конфеты, вот только кто-то далеко. Ну что делать? Очень Вас любим и помним. Очень здорово и прекрасно, что тут тогда встретились.

Мы теперь в корпусе «Б» («А» ремонтируют) — и в Вашем номере достойный преемник — Олег Чухонцев. Еще тут Стасик Рассадин и много другого хорошего народцу. Мы уезжаем 14-го. Поработаем в Москве (а то совсем забаловались), а дальше видно будет. Думали мы к Вам весной — наверно, не осилим. У Валюши уже есть прекраснейшие стихи (та малеевская весна) и даже одно теперешнее стихотворение. Я закончила «Кузьку», даже в Детгиз отдали. Стал гораздо лучше со всеми поправками. И еще для детей сказки современные, смешные...»

Но прошел месяц, и пришла почтовая карточка, написанная 3 января 1984.

«Милый Валентин Яковлевич!

Рука не поворачивается писать Вам эти слова. Но

22 декабря 1983 Татьяны Ивановны не стало. Десять лет она болела той страшной болезнью, которую, говорят, скоро победят. Она была весела, светла, радостна. Вы ей очень полюбились и сами дали ей много тепла. Последней ее опубликованной работой была рецензия о Честнякове (ДЛ № 10), последний серьезный выход в город — на выставку Честнякова. Она позаботилась обо мне, оставив огромное наследие изобразительное и литературное. Я им и занят.

Слава успела при жизни слегка задеть ее крылом. В двенадцатом номере «Детской литературы» ее сравнили с Е. Д. Поленовой и воспроизвели Кузьку. Навестите меня, дорогой друг, когда будете в Москве. Не знаю, как жить».

А 23 мая 1984 как оклик светлейших малеевских дней и обещания приехать весной с Татьяной Ивановной еще письмо.

«Спасибо за письмо, за память. Как хорошо Вы пишете о Татьяне Ивановне! Я пока еще не очень пришел в себя. Жизнь, в особенности в ее деловой части, кажется несколько абсурдной.

Продолжаю работать над вещами Татьяны Ивановны. Сейчас просто перепечатываю разные кусочки из ее тетрадей. Очень милые наброски сказок про собачьего домового — конурника. Хороши куски фантастики с ее философскими мыслями. На этой неделе выходит номер «Недельки» с рассказом Татьяны Ивановны. Во врезе впервые печатно будет сказано, что ее больше нет. В № 6 «Детской литературы» статья о ней и репродукции. Вчера дважды позвонили ей.

Прекрасный май! Некоторые деревья и кусты на улицах, во дворах, в овражках, все сияя белым или ро-

зовым, словно вышли на первый план, чтобы порадовать и порадоваться. Мечтаю Вас увидеть, так как 30 мая еду в Псков, а потом — в Михайловское.

Потихоньку начинаю сочинять стихи. Вот одно.

На ветке железнодорожной у оружейных складов
Поспешно формировался секретнейший эшелон.
И не было в тех вагонах ни пушек и ни снарядов,
А были одни пожитки солдатских детей и жен.
У старшего лейтенанта петлицы с тремя кубарями.
У старшего лейтенанта двое детей и жена.
За оружейным складом отец прощается с нами.
Ему на войну не ехать. Сама явилась война.
У старшего лейтенанта с женой разговор бесконечный.
Последняя просьба друг к другу: «Себя для детей сбереги!»
Последний уют семейный. Мы дремлем почти беспечно.
Ведь с нами мама и папа и нам не страшны враги.
И я под отцовским взглядом при свете зари проснулся.
Отец мой уже уходит, хотя стоит эшелон.
Вдоль ветки железнодорожной прошел и не обернулся.

А если бы обернулся, с войны б не вернулся он.

И еще:

Как «Одиссею» читая, мечтал я об океане,
Как меня из дому звал запах неведомых стран,
Где хитроумный герой скучал по дряхлеющей няне,
Рвался к далекой семье и проклинал океан.

Обнимаю Вас, дорогой друг. До встречи!

P.S. Люди моего возраста живут датами. Вчера — 5 месяцев без Татьяны Ивановны, сегодня — 6 лет моей внучке Марине-Эсперансе.

В стихах я возрасту, конечно, не поддамся. Перечитываю «Вечерние огни» Фета».

А автограф — это та же бережность и желание идти чуть впереди Татьяны Ивановны, чтобы оградить ее от беды, как во все годы их жизни. Валентин Дмитриевич вот такими «переводами с грузинского» радовал ее по утрам, чтобы веселее начать новый ненаглядный день, которых для обоих было уже не так много.

Из грузинской народной поэзии

Не успел я всхрапнуть после ужина,
Как проснулся, блохою разбуженный.
До утра со свечой и кинжалом
Я гонялся за нею по скалам.
Сталь сверкнула над горной вершиною —
Наземь рухнула туша блошиная.
На куски негодяйку изрежу я,
Сто волов запрягу вереницею.
Говорят, что блошатину свежую
Обожает султан за границею.
Вот продам я ее подороже,
Да и сам заживу, как вельможа.

Перевел В. Берестов

Дальше была жизнь, были новые письма, стихи, были и счастливые свидания — в Москве, в Пскове. Но это была другая жизнь. А эта светлая и печальная глава была дописана вся.

Из грузинской народной поэзии

Не успел я всхрапнуть после ужина,
Как проснулся, блохою разбуженный.
До утра со свечей и с кинжалом
Я гонялся за нею по скалам.
Стан сверкнула под горной вершиной
Наземь рухнула туша блошиная.
На куски негодяйку изрежу я,
Сто воров закажу вереницею.
Говорят, что блошатину свежую
Обожает султан за границею.
Вот продам я ее подороже
Да и сам заживу, как вельможа

Перевел [illegible]

***

Было тогда и еще одно поэтическое знакомство. Я долгие годы тяжело дружил с Татьяной Михайловной Глушковой (легко с ней дружить было нельзя), а вот автографа ее у меня в этой книжке нет (хотя в переписке — десятки). Наверно, я не посмел попросить о нем. Для нее это было бы чуждо. Это был дар редкой чистоты и совестливости, гнева и силы, горькой страсти и требовательности. По ее справедливому разумению, если ты жил в России, где все времена роковые, ты не смел писать и думать вполсилы. Я почти страшился ее писем, в которых половина слов были писаны курсивом, половина подчеркнуты или набраны в разрядку, — тебе диктовалась властная тропа мысли, с которой ты не смел соступить в произвольное толкование. Значит, и отвечать тебе подобало так же. В дружестве она была так же всецело ответственна, как и в поэзии, и, обнаруживая в близких поэтах уступку времени или ложной идее, переменчивость шаткой души, уходила честно и твердо, объяснившись публично и взвешенно (как это было в ее дружбах и последующих резких и необратимых расхождениях с Д. Самойловым, А. Межировым, С. Куняевым), потому что дело было не в личном, а в общерусском деле, каким она числила свое ремесло. И не оглядывалась на последствия. А последствие было одно — старинное и неизбежно растущее одиночество. И она знала его неизбежность, но, как Достоевский при выборе между истиной и Христом предпочитал остаться с Христом, так она при выборе между

сколько-то сносной жизнью и Истиной, всегда выбирала Истину.

Никогда в ее слове о Родине не было праздной риторики. Это знал каждый по ее страстной публицистике последних лет, по ее властной критике, но прежде и первее всего — по ее все ждущей своего часа и достойного читателя поэзии. Везде, везде была эта материнская тень Родины, везде она — хранительница, спасение и опора: «А я шепчу: красавица! Отчизна! /Что без тебя могла бы значить я?» Или — еще пронзительнее: «Из рая, плача, прилечу сюда». Родина для нее всегда была не позади, как у наших печальников, а всегда и во всякий час — вокруг. Сегодня и вовеки. Еще впереди был подлинно страшный час ее Родины, впереди были невыносимые стихи:

Когда не стало Родины моей
В ворота ада я тогда стучала:
возьми меня!.. А только бы восстала
Страна моя из немощи своей.

Впереди был стыд наших опозоренных, трусливо оглядчивых Праздников Победы, которые трудно было перенести ее гордому сердцу: «Парад Позора! Не моим глазам /глядеть, не моему склоняться слуху, /внимая, как Великую Разруху /кимвалы славят и пирует срам...» Впереди были самые главные и самые славные страницы ее поэзии и смерть на первой пасхальной неделе.

Но косвенная ее тень, мелькнувшая в нечаянном отрывке из стихотворения дружившего с ней в дав-

ние поры московского поэта Льва Смирнова, очевидно, после очередного нашего с ним разговора о Татьяне Михайловне, была все о той же, о той до сих пор не узнанной нами великой поэтессе. Строки были слабее ее грозной власти, но глядели в ту сторону...

У ней был современный дар
И древняя, как мир, основа.
Она была на все готова.
Она была — как Жанна д'Арк?
Но бедного страшилась слова.

И потому — при палаче,
Чья грудь из книги выпирала,
При вечности, подняв забрало,
При этой лампе вполнакала —
Она писала о свече.

8 мая 1982, Малеевка
Лев Смирнов

Царствие Вам Небесное, Татьяна Михайловна, и спасибо за безжалостную и такую вразумляющую школу почтительного вставания перед русским словом.

У ней был сокровенный дар
И древняя, как мир, основа.
Она была на всё готова.
Она была — как Жанна д'Арк,
Но бедного страшилась слова

И потому — при накале,
Где грудь из клетки выходила,
При вечности, подняв забрало,
При этой лампе вполнакала —
Она писала о свече.

Очень рад знакомству и
надеюсь на дружбу.

Лев [illegible]

8/V-82 Малеевка



ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Наше знакомство с Д. С. Самойловым было случайно. У моего товарища, волею судьбы жившего в Швеции, умер в России отец, и он, возвращаясь с похорон, остановился у Самойлова, которого знавал еще по Таллину, где некогда работал в тамошней «Молодежке». И попросил меня о свидании. Альбома у меня с собой, конечно, не было — не затем ехал. Я бы и не сунулся с автографом. Слишком это было бы по-нынешнему — приехать ободрить товарища, а самому держать под мышкой заветную книжицу. Но автограф, как ни странно остался, хоть и на отдельном листке. День вообще вышел такой живой, что я потом даже писал об этом, и вот сейчас что-то из старой записи и возьму, что лучше объяснит содержание автографа.

Открыл дверь сам Самойлов, предупрежденный о моем приезде.

— Не глядите, что квартира так запущена. Я тут не живу. Уж очень тяжела московская литературная среда. Про литературу не скажу — они тут странно расходятся: литература ничего, а среда безобразна. И милые моему сердцу люди приезжают ко мне в Пярну. Да и пить я тут уже устал. Я ведь много пил.

Кстати, мне разрешено Галиной Ивановной выпить за эти московские дни триста граммов. Я решил не тянуть их по капле, а соединить в один раз. Не пришел ли он, этот раз? Это пусть Миша (мой товарищ — Михаил Сафонов. — *В. К.*) со своим сердцем всухомятку сидит, а мы-то с вами чего?

В дверь позвонили.

— Ну вот, необходимость в выпивке возрастает вдвое. Познакомьтесь: Юлий Маркович Даниэль.

Явился коньяк.

— Мы так сделаем. Вы с Юлием будете по полной, а я по половинке — вот и нечего будет циркулем триста граммов мерять, все и выйдет как раз.

Даниэль стал жаловаться на сложность своей работы — переводит французов для «Антологии» в «Прогрессе»:

— То ли дело были Гюго, Ламартин, Готье! А как пошли Рембо, Бодлер, Аполлинер — дело застопорилось. Прочитаешь и сидишь: чего он хотел сказать? Сунешься в комментарий, а там один одно говорит, другой другое, третий третье и никто на своей правоте не настаивает, можешь четвертое говорить.

Самойлов: Я в 1941-м неизвестно почему, когда нас чуть не окружили под Смоленском и мы вырвались и лежали по госпиталям, вдруг перевел «Пьяный корабль» Рембо. И забыл про него. А вот недавно меня попросили в «Прогрессе», и я вспомнил. Увлекся и перевел снова, оставив от того только строфы три-четыре. Я сравнил все переводы. По напору близок Антокольский, но он далек от оригинала — больше под себя гнет, на горло берет. А Кудимов — про того я давно говорю, что нельзя быть хо-

рошим переводчиком, если сам владеешь стихом на уровне Надсона. Лучше всех был перевод Лившица. А вообще я в последнее время ни своего не писал и не переводил. Плохих тяжело переводить — больше своих сил тратишь, чтобы он тебя дураком не выставил. Хорошего тоже переводить трудно. А средненького хорошо, но скучновато...

В дверь позвонили.

— Познакомьтесь: Юрий Давыдыч Левитанский.

Левитанский: Нет, этого я не пью. У меня тут принципы твердые — только водка. Я так посижу. Книжки тут свои принес. Прислали из издательства, а куда мне их — лучше сразу раздать. — И подписывая Даниэлю: — Я знаете, когда впервые ваши стихи увидал?

Даниэль: Думаю, что знаю. Наверно, тогда же, когда я — вашу подпись под бумагой в нашу защиту, которая тогда в лагере очень ободрила нас с Андреем. Андрей (Синявский. — *В. К.*) молодец, он — в укор мне будь сказано — сделал там очень много. Я только книжку стихов оттуда привез, а он — одну из лучших своих книг «В тени Гоголя». Он смешно писал ее — в письмах жене. Напишет: «Здравствуй, Маша! Теплые вещи я получил. Носки и кальсоны как раз. А что до Гоголя, то...» И дальше десять страниц чистой рукописи. А начальство глядит — вроде у нас Гоголя нет, не из нашего лагеря — значит, можно...

Дальше разговор нервничал и метался, как свеча под ветром, что естественно при выпивке, в которой и я не в стороне сидел и потому удерживал не все.

Самойлов: Юра, ты видел мое последнее в «Друж-

бе»? Как я их мотанул с названием! Написал — вижу, не напечатают. Я тогда р-раз и — название «Старый Тютчев», а с него взятки гладки — в какое время писал, поневоле завоешь: «Что означает ночь? Что нас уже приперло. /Приперло нас к стене, а время к рубежу. /Вот подходящий час, чтоб перерезать горло. /Покуда подожду. Покуда подожду». Хотя, конечно, вряд ли кого обманул — ребята сами рады на ком хочешь проехать для живого слова. Правда, другое все равно не пустили — Бог там, ангелы, а теперь даже идиомы вроде «Боже мой» под подозрением.

Левитанский: Давид, а ведь мы пропущенное поколение. Я не даю никакой оценки, а просто думаю, что нас — поколением — в литературе нет. В поэзии — нет. Были Сурков, Симонов, Луконин, Смеляков — поколение, а потом сразу молодые — Евтушенко, Рождественский, Вознесенский... Через нас. А мы вроде поштучно идем, хотя в этом, кажется, есть кое-что получше, чем ходьба колонной...

И тут мой товарищ, то ли зацепившись за поколение, то ли от нечаянно пробившейся боли, рассказал о похоронах отца.

— Взял свечу поставил. Тетка говорит: дай вот сюда поставлю — поближе. Нет, говорю, отец был дальше от Бога. Я лучше тут. Стою смотрю: и не поверите — свеча оплывает, и вижу профиль отца, потом матери, брата, свой профиль... И плачу. И больше отец не снится. Что это такое?

Самойлов помолчал и вдруг на случайном листке записал вот это с адресом, чтобы мы оба приезжали...

Цель людей и цель планет
К Богу тайная дорога.
А какая цель у Бога?
Неужели цели нет?

Д. Самойлов
Пярну Эст. ССР, Тооминга, 4

Я перечитываю сейчас эти строки и неожиданно вспоминаю стихотворение Борхеса, в котором он уподоблял жизнь шахматной доске с клетками дней и ночей, на которой мы только фигуры в руках неведомого игрока, вспоминаю, собственно, только детски-обидчивый и дерзкий вопрос поэта:

Всевышний направляет руку игрока.
Но кем же движима Всевышнего рука,
Сплетающая нить времен, страстей, агоний?..

Как неожиданно близки вопросы поэтов, любящих допрашивать Бога о Его цели. Можно было бы счесть четверостишие Самойлова, как это сегодня называют, ремейком? — когда бы не было точно известно, что Борхеса он тогда знать не мог, потому что тогда его еще не было у нас по-русски. Видно, высокая мысль не знает национальности, и ее шепот каждый в свой час слышит по-своему.

Как это еще тогда было — просто: Эстония так Эстония. Сел да поехал. Но я, грешный, так и не добрался до Пярну. А вот в Литовскую Ниду ездил с удовольствием. И потому, что надо было проехать Калининград и Светлогорск, где жил тогда оставивший Псков Куранов (как было не навестить?), и по-

Цель людей и цель планет
К Богу тайная дорога.
А какая цель у Бога?
Неужели цели нет?

Д. Самойлов.

Пярну Эст. ССР
Тооминга, 4

тому, что давно любил Томаса Манна, его «Волшебную гору», а больше того — его великого «Доктора Фаустуса». А Манн в Ниде работал, и дом его был цел, и, казалось, что непременно что-нибудь выведаешь, какую-то тайну дара великого немца, услышишь еще какие-то оттенки. И нисколько не удивился, что прямо на другой день встретил у домика Томаса Манна переводчика его романов и переводчика редкого по силе и верности (он переводил еще и сложнейших Г. Гессе и Р. Музиля) Соломона Константиновича Апта и мы стали навещать дом Манна вдвоем, отдыхая под стенами кирхи, пока местный органист готовился к воскресной мессе или просто играл для редких слушателей. А над чем было и улыбаться переводчику, как не над языком. Отсюда и появившийся потом в альбоме стишок:

Если ухо не привыкло,
Надпись «natas Tomo Mano»,
Как и вывеска «Valgykla»,
Непонятна и туманна.

А привыкнешь постепенно
К здешним звукам — и готово:
Назовешь и стяной стену,
И Толстовасом Толстого.

Апт
Май 1984, Нида

(«Namas Tomo Mano» — «дом Томаса Манна». Valgykla — столовая: места одинаково почтительного посещения).

Если ухо не привыкло,
Надпись "паша, Тото Мано́",
Как и вывеска "Valgykla",
Кекоцяпа и Тумана.

А привыкнешь постепенно
К здешним звукам — и готово:
Назовешь и стя́ной стену,
И Толсто́васом Толстого.

Нида, V-84

Аит



Румбы и градусы

В Ниде была весна. Прозрачный, солнечный, уютно холодный май. Я пытался выучиться у местных ребят виндсерфингу, бултыхался у берега в воде, едва превышающей двенадцать градусов. Доска не слушалась. Я был уже морковного цвета. На берегу смеялся, ожидая открытия вечернего ресторанчика, Виктор Викторович Конецкий: «Высоко в горы вполз уж...» Я был, однако, упрям, и дело все-таки пошло, и скоро уже мне доставляло удовольствие орать: «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни...»

Погода была неровная, часто штормило. Виктор Викторович скучал и рвался в море. И однажды его, учитывая высокие заслуги перед морем и литературой, несмотря на штормовое предупреждение, все-таки выпустили сходить через Куршский залив на «континент». Он весь путь простоял на палубе маленького рыбачьего сейнера, радуясь волне, перекрывающей бак. Лицо горело, словно это было его первое плавание. А ведь позади у него были и Ледовитый океан, и Тихий, и Атлантика.

На «континенте» мы прикупили выпить, и наш

добрый литовский капитан, обрадовавшись возможности посидеть с нами в «кают-компании» за рюмочкой-другой, поставил на руль Виктора Викторовича и был спокоен — мореман, прошедший такие воды, доведет корабль «по ниточке» — хоть спать ложись. Отчего было не выпить. Но и Виктор Викторович уже, видно нарадовался волне, и тоже предпочел бы посидеть в «кают-компании». Снизу слышу: «Старшему матросу Курбатову подняться на мост!» Поднимаюсь. «Стоял?» — спрашивает. Чего, думаю, тут стоять-то? — «Стоял!»

— Ну давай, я посмотрю. Лево руль!

Ну а я действительно бакена знаю, фарватер вижу. На парусных шлюпках ходил. Да только забыл, что там ты руль-то за спиной держишь, и там тебе коли «лево руль!» командуют, ты румпель право кладешь. А тут руль-то вон он, перед тобой. Ну и кладу право. Виктор Викторович побледнел: «Одерживай! Одерживай! Лево руль!» Я доворачиваю право. И уже вижу, что нос безнадежно уваливается, и теперь уж как лево ни верти, только людей насмешишь. Пошел уж на полный оверштаг. «Вон с моста!»

Я постыдно спустился вниз. И не могу к столу подойти — стыдно. Матрос, называется. Минут через десять снова: «Старшему матросу Курбатову подняться на мост!»

— А если бы ты шел минными полями! (Виктор Викторович сказал это без всяких шуток, жестко, как ударил. Я даже не посмел улыбнуться этим «минным полям» курортного Куршского залива — и тут он был моряк). Ну, понял, сено-солома, где ле-


На память
Лиде —

„Отводить!“ — означает возврат пера руля в диаметральную плоскость (постепенный!)

„Одерживать!“ — означает сдерживать, уменьшать угловую поворотную скорость судна, скомандовав руль на другой борт...

Без мастерства и поучений себя не мыслю.

Добрых погод!

май 84г
Литва, Нида.

во, где право? Маяк видишь? Вот на маяк и держи. Поднимусь — проверю.

И вниз!

Эх, я и вел! По линейке можно было чертить. Не зря потом старый литовский капитан ему за вождение «четыре» поставил, а мне — «пять». Первым смеялся Виктор Викторович. Зато какой и автограф!

«Отводить!» — означает возврат пера руля в диаметральную плоскость (постепенный!).

«Одерживать!» — означает сдерживать, укрощать угловую, поворотную скорость судна, скатав руль на другой борт...

Без менторства и поучений себя не мыслю.

Добрых надежд!

ВК

Май 1984, Литва, Нида

И потом мы уже не разлучались. И всякую поездку в Питер я летел к нему, не мог наслушаться его живописностей и записывал, записывал, пока он спал после наших бесед, хотя что в нем, в этом соре — не знаю. А вот перечитываю, и сердце болит от нежности.

— Я видел Сталина, вот как вас, 2 мая 1952 года. Наш морской батальон тогда лучше всех прошел на параде. Мы ведь были ребята отборные. Из нас готовили гвардию подводников и выбили из мозгов все, что для гвардии не годилось. Мы вступили в партию строем — два шага вперед! Сразу после объявления, что училище становится подводным, а мы — гвардией.

Перед парадом мы неделю репетировали на городском аэродроме у Химок, куда садились самолеты в войну. Репетицию принимал Буденный. Кто-то из наших (все-таки двадцать четыре человека в шеренге — удержи тут равнение, да еще с винтарем и штыком!) споткнулся на брусчатке, строй сбился, задние ткнули передних штыками, пошла куча мала. Буденный завернул в микрофон такое материальное «чудище обло», какого я уж с той поры и не слыхал: «Параду стоять! Моряки на исходную! Адмиралам (а у нас их было четыре, уже с брюшком) пузо не распускать и палаши не между ног держать. Пошел! И ноги не слышу. Подковать их, так и растак!»

И так почти целую неделю по 16 часов — вперед до бляхи, назад до отказа! Зато прошли как литые. Даже когда над колонной на бреющем в головном бомбардировщике пролетел Василий Сталин и за ним остальное звено — тут ведь оркестра не слышно. Подкова звук несла — по шесть штук нам засадили на каждый ботинок. Потом, за Василием Блаженным, мы их сковырнули штыками, выложили из них якорь и надпись «Привет с Балтики!»

Вот тут-то по традиции лучший батальон и пригласили в Георгиевский зал. Бачок жратвы на шестерых и бутылка сухого вина. И когда мы перед едой каменели «смирно», он и прошел рядом, жутко рябой и низенький, с опущенным фужером в руке. Скажи он тогда броситься со сто восьмого этажа — не думая бы махнул. Во какие мы были ребята! А потом я уже видел его не на, а в мавзолее. И тут уже все было по-другому. Я тогда еще смешливый был, и мне почему-то очень смешно показалось, как они лежат там ря-

дышком по сторонам прохода. Все руки себе искусал, пока шли, а только за дверь, скорей выхватил папиросу и спички и, прикурив, сунул, как всегда делал, спичку в коробок, но от торопливости не в ту сторону, коробок вспыхнул и я тут же — по воздуху? под землей? — оказался в подвале ГУМа. Умели ребята работать. Насилу отвертелся...

— Вы «Тридцать три» видели? Мы тогда пришли на студию: я, Вася Аксенов, Юра Казаков, Валька Ершов и Гия Данелия. «Давайте, — говорим, — договор на пятерых. Что, итальянцы могут сценарии ротами писать, а у нас кишка тонка?» Ну, видят такой парад звезд — подписали. Мы рванули в Одессу и утопили аванс в водке. Первым бежал Вася, вторым подхватил свой рюкзак и удочки Юра Казаков. А перед нами замаячила необходимость отдавать аванс. Ну уж, кхм! Мы завязали намертво и месяц писали. Катались со смеху, заводили друг друга. Я теперь знаю, что комедии вообще надо писать не меньше чем вдвоем. Гия тогда выписал из Кремля настоящий эскорт с «Чайками» и мотоциклами, чтобы хватить в Верхние Ямки через кур и кальсоны, мотающиеся над дорогой. И у нас был замечательный эпизод, когда Травкина от лица человечества провожают главы государств: Никита наш, Эйзенхауэр, де-голлевский нос... Камера уходила с Травкиным вверх, и оттуда сверху они, такой дачной кучкой, махали руками и фуражками. Все в орденах, как новогодние елки. Было очень смешно. Выкинули, дураки...

— А с «Полосатым рейсом»... Никита заманил эфиопского Хайле Селассие, как революционного коро-

ля, в гости. Ну и, зная, чем тешат социалистических королей, повел его в цирк на Цветном. А король рубил в тиграх и, когда увидел, как Маргарита Назарова работает со смешанной группой (обычно на арене только «девочки» или только «мальчики»), ахнул и отвалил челюсть. Никита смекнул, что у нас, значит, есть товар, который мы пока не сунули в нос гниющему Западу, и срочно объявил о необходимости снять о русских тиграх «хороший фильм». По всем студиям возвестили конкурс. Титулованные комедийные идиоты понесли свое барахло. А передо мной в очередной раз засветила необходимость отдавать аванс за какую-то муть, которая у меня не шла. Я пришел на ватных ногах «сдаваться», но директору было не до меня. Он устал от комедийных идиотов и готов был говорить о несчастных тиграх с уборщицей. А тут подвернулся я, и он пожаловался мне. Я же вспомнил, как мы однажды везли двух медведей, и они у нас слиняли из клетки, и их пришлось загонять кислотными огнетушителями, действие которых прекращается за две минуты. И я тут же предложил директору тигров на пароходе. Тот был готов ухватиться за соломину — аванс был прощен, и я вошел в новый сюжет.

«Полосатый рейс» я уже делал один. Смешной был эпизод с Леоновым в ванне. «Мыться, — говорим, — Женя, и давай. Мы тут стекло поставим от Пурша и спокойно снимем». Он — в ванну, поет. Мы — дрессировщика под ванну для страховки, а Пурша вперед без всякого стекла. «Женя, — говорим, — тебя там не видать, протри глаза». А он там разнежился — тепло — моется, поет. Ну тут зенки-то продрал, а Пурш воду лапой трогает. Женя пулей как дунет, забыв,

что голый, и мы его тут сразу с первого дубля — самый народно любимый кадр и сняли. Эх, он и поматерился...

— Посмотрел я тут у Гии «Слезы капают...» Гия-то Гия, но уж себя не перепрыгнешь. Без характера никакого кино нет. Пусть уж писатель пишет сценарии, а режиссер снимает. Иначе вот такое культурное ... и выйдет: черные лошади на пепельных фонах, «безумие» города и «пастораль» деревни — одни общие места. Сразу видно, что Володина он прогнал, а тот как раз сечет. «Фабричную девчонку» он как писал? Пошел на «Красный треугольник», там десять тысяч девчонок, снесенных послевоенной жизнью в Ленинград. Придет в общежитие: «Машка где?» — «Какая?» — «А Иванова». — «Так нет ее. Она нынче во вторую смену». — «Вот беда, а я как раз из деревни к ней, двоюродный брат. Можно, я пока тут перекантуюсь? Где ее койка-то? Посплю часок — устал, пока добирался...» И на бок! А девки в комнате чешут языками — что он им, этот «двоюродный брат»? Этого придумать нельзя. Он ловил четко. И интонацию держал — будь здоров!

— В апреле 42-го мы прорвались через Ладогу. Мать везла нас в Ташкент. Голодных нас накормили жирной гречкой, хотя не надо было быть врачом, чтобы понять, что это смерть. Мы подыхали от поноса, когда уже нечем было ходить. Мать не ела неделю, но болезнь не проходила. Мы ждали, что она помрет со дня на день. Поседела, волосы свалялись — волосы умирают первыми. Но она была фантастично верующий

человек и не могла умереть, не выходив нас перед Богом. Может, только тем и держалась

А за Уралом к нам в вагон попали крепкие здоровые ребята — лейтенанты, ехавшие учиться в тот же Ташкент. Представляете — 42-й, на фронте не вздохнуть, положение на пределе, а они в тыл едут — учиться. Нет, наш рябой — крепкий был парень, и нервы у него тогда были уже будь здоров, чтобы с фронта отозвать таких крепышей и учить командовать, тогда как что лучше пули учит солдата? Но вот понимал, что воевать придется не одной кровью. И ребята только очухавшиеся: позади — лучше не вспоминать, впереди Ташкент — город хлебный, бабы, учеба, сами молодые... Из них перла жизнь, и они не могли, чтобы рядом кто-то помирал: «Ну-ка, мать, давай, не хрен тут, разевай рот!» И они приподняли ей седую голову и влили полстакана спирту. Мать отключилась. Мы с братом кинулись на защиту. Я и сейчас помню эти крепкие торсы. Лиц не помню, а вот торсы — да. Наверно, потому, что глаза были на уровне их груди, а вверх ведь почти и не смотрел — гордый уже был, а приходилось всю дорогу на станциях канючить: «Дяденька, мамка помирает, дяденька, мамка помирает». Хоть корку выклянчить или купить — по 400 рублей мать нам зашила — и сразу деньги тянул, чтобы не просить, но меня шугали с этими вшивыми, никому не нужными деньгами. И никакого Станиславского не надо было, чтобы точно сказать в одном случае «Ради Христа!», а в другом «Товарищ командир!» Ох, ученые мы стали ребята за дорогу. Мать пошла на поправку...

— В дневнике 89-го года натыкаюсь на запись: Виктор Петрович совсем с ума сошел. Брякнул тут по телевидению, что нечего было защищать Ленинград, эту «груду камней». Человеческая жизнь ему, видите ли, дороже. Меня бы спросил. Если бы немцы тогда вошли в город, я, пацан двенадцати лет, кусался бы и рвал их зубами. Так и Родину можно отдать — человека пожалеть. Только уж какой это будет человек?

И тут же отходит:

— Аккуратов зовет в кругосветку на МИГах (Джанибеков, Захарченко, он и я) на четыре с половиной месяца с залетом в пятьдесят стран. Если ничего не изменится — полечу. Может, сдохну где-нибудь в тропиках или шарахнемся куда-нибудь в Индийский океан — все не в постели этой подыхать.

— Лучшая литература — документ. Вот поглядите мои показания Мурманскому пароходству. Это лучше моей прозы. Читатель будет глядеть на эти градусы, часы, румбы, скуку цифр и команд и ждать, что щас что-то случится. И случилось...

И дырочка-то была всего в палец, но судно уже не ходок и за грузом уже надо смотреть вдвое. И неизвестно, кто виноват, на чьей вахте случилось. Главное, уже тяжелые льды прошли, вышли на чистую воду, поздравили друг друга, и я пошел спать. И тут второй помощник докладывает, что во втором отсеке вода. На Колыму пришли — осадка на корму 40 сантиметров ниже бара, «рейки», как там говорят. Надо перегружать картошку. Мой первый вызывает команду на палубу и говорит красивую речь: приказывать я вам не могу, только просить, но надо перека-

чать шестьсот ящиков картошки из кормы в нос. Правда, если просьба не поможет, я так прикажу, что вы у меня эту картошку... (тут он спохватывается, взглядывает на меня, я улыбаюсь). Он идет переодеваться в подарок датских рыбаков — роскошный комбинезон, чтобы встать к ящикам первым. И пошел! И пошел! Полет, а не работа! А капитан-то уж моих лет, при таких нагрузках можно и концы отдать. Я зову его, привираю, что появился крен на градус, чтобы он выпрямился и отдохнул. Он понимает, посмеивается: брось, Викторыч, все нормально.

Я предлагаю ему позвать женщин, чтобы собрали рассыпавшуюся на палубе картошку — самим на полрейса хватит, но капитан и тут посмеивается: брось, Викторыч, потемну столкнем за борт и весь хрен до копейки, у нас же ее не весом, а числом ящиков будут принимать.

Нет, тут только как Петр — на реях вешать, иначе порядка не дождешься! У Новой Земли с «Брежнева» запрашивают: кто скатал нефть за борт? Льды пошли черные. Суда молчат — нашли дураков! Наш капитан бьет себя кулаком в лоб: «Дурак, как же я забыл сказать «деду», чтобы он вчера в тумане наше ... за борт откатал...»

А вы говорите — экология... Только на реи!

Смотрит альбом Врубеля.

— Я встретил Михаила Александровича в Карском море — шел целый караван. Лед тяжелый, туман. Врубили все прожектора, чтобы хоть немного разогнать эту тоску и мглу. А когда малость развиднелось — смотрим: прет мимо нас по чистой воде рыббаза, такой

чемодан в четыре дизеля — «Художник Врубель». Все у нас высыпали на палубу: во дает! И что это у нас, своих художников нет — иностранными называть? Не еврей ведь, наверно, евреем бы не назвали — француз какой-нибудь. А вот «Шишкина», поди, нет. И... эх, пошел... Ну-ну... И смотрим, действительно, залез левой скулой на лед и встал. Крен — градусов 25. Наутро все стоит. Я вызываю: «Эй, «Врубель», капитан на мосту?» — «А где же ему быть?» — «Ты, — говорю, — с чего такой храбрый?» А он говорит, что первый раз в Арктике, понадеялся на четыре машины, четыре-то дизеля — прорвусь. «Ладно, — говорю, — стой так, попробуем обколоть».

— Про Врубеля-то, думаешь, шутили? Идем мимо мыса Челюскин, спрашиваю помполита: «В честь кого назвали, знаете?» — «Ну уж вы, Виктор Викторович, совсем из нас дураков делаете». — «Ну а все-таки, без обид?» — «В честь этого, смешно даже, ну, корабля, который тут зимовал». — «М-да...» Рассказываю ему о Семене Ивановиче Челюскине. Удивляется. Проходим проливом Вилькицкого, рассказываю этим обормотам в кают-компании о Борисе Вилькицком, о его уходе к белым и тем не менее о сохранении имени на карте — опять в новинку. А слушают как!.. Там есть крошечный мыс и остров Жохова с могилой на мысу и бедными стихами, обращенными к возлюбленной. Лейтенант Жохов спятил, влюбившись в двоюродную сестру и, когда брак был запрещен, увязался в экспедицию Вилькицкого. Норов у обоих был будь здоров, и они не ладили, так что после смерти Жохова остров, тогда тотчас дружно названный моряками в честь бед-

ного лейтенанта, все-таки обозначил на карте другим именем. Но моряки народ заводной, и уже после эмиграции Бориса Андреевича ВЦИК вернул острову имя Жохова. Значит, кому-то надо было обивать в этом ВЦИКе пороги, давить там, брать на горло, выгораживать истину. Теперь он лежит там под камнем со стихами об утренней Авроре и тени любимой. А она ушла в сестры милосердия, прожила с памятью о нем и умерла недавно. Слушают мариманы, в глазах слезы. Вот, говорю, возьмите, сами почитайте. Куда там. Сентиментальность и лень, как у уголовников. Не зря Шкловский говорил, что тюрьмы и корабли очень похожи — там и там много ржавчины и ее надо шкрябать. Моряки вообще народ глупый. Глупее их только летчики. Мы когда встречались с Марком Галлаем, то, как интеллигентные люди, все норовили друг перед другом дверь открыть: я говорил, что моряки глупее, а он — что летчики, хотя оба знали, что наоборот. Он — парень славный. Шли за билетами домой из Ялты после Дома творчества. Я в Аэрофлот, а он: «Вы с ума сошли? За свои деньги? Знаю я, как они там летают. И на чем. Ни в жизнь! Только поезд!»

Сидим на берегу Куршского залива. Вечер. Залив уходит в небо без паузы горизонта, так что рыбачащие на молу дети кажутся сидящими на краю небосвода. Пара лебедей мощно и длинно, низко и сильно, долго и упруго летит над самой водой так близко, что их можно окликнуть шепотом.

— Что мы будем делать, если нам дать свободу? Сразу задохнемся. Сегодня я напишу вот этих лебедей, все скажут: вот Конецкий лебедей пишет, видать,

заперли мужика совсем, не вздохнуть — вон лебеди у него как летят. Никто не поверит, что правда увидел и от одной любви написал. Не для этого у нас литература назначена.

— Все-таки это неведомая вам радость — выйти поколением. Мы плечами опирались друг на друга, но и спуску друг другу не давали. Раз, помню, обедали в «Метрополе» (копейки копейками, а пижоны были порядочные): я, Юра Казаков, Юра Коринец. Я тогда завелся на Казакова, что он все похвалы Паустовскому расточает, когда правду надо резать, а не сиропы цедить. Юрка обиделся — сам ты, говорит... И вдруг дверь открывается и входит Олеша. Казаков говорит: вон Олеша. Ну, мы его тогда по сочинениям-то не очень знали, но «Три толстяка» помнили с детства. «Тот, что ли?» — спрашиваю. «Тот!» Ну, бросили на «морского» — кому идти звать его к нам. Выпало мне. Я сразу на попятный: вы, говорю, москвичи, а я что? Ну, Юра меня презрением по рылу. Я пошел. «Юрий Карлович, мы, молодые писатели, будущее литературы, хотим пригласить вас выпить с нами», — а сам уж от робости и принятого и стол свой не могу показать. Он подошел и через пять минут заплакал: «Молодые писатели? Меня помнят?» Он много чего говорил, да я уж был хорош. Так и пропускаешь великих, не дослушав...

— Году в 60-м Анна Андреевна Ахматова кивает мне в раздевалке Малеевки: «Конецкий, подайте мне мои соболя!» Я подал ей ее лапсердак, хуже моего теперешнего во сто раз, и так и не решился заговорить,

счастливый хотя бы тем, что она знает мою фамилию. А был рядом месяц... Теперь бы...

— Представьте ситуацию. Я к вам приду с папкой и скажу: вот тут у меня все доказательства, и неопровержимые доказательства, что вы прямой потомок Василия Темного. Что вы будете делать? Ну сначала, конечно, скажете: ну, Витя, молоток, пошли дернем по этому поводу. А потом, а ночью-то? Ведь это — род, древо, века. А если к вам еще сеструха из Америки приедет с напоминанием об этом. И кореша похихикают, что не пора ли, мол, тебе о судьбе трона заикнуться, то ты сразу смекнешь, что я с папочкой-то из КГБ и тебя, значит, обложили. О, тут ходов не счесть! Вот моя будущая пьеса. Главное, не дать героям больше двух часов, не дать обмозговать ситуацию, чтобы все летело на буффонаде и драме одновременно. Только кто же это будет делать? С мейерхольдовской поры в драматургию забили кол осиновый. Никто драматургу не верит. Делают, что хотят. Булгаков смеялся, что Мейерхольд погибнет, потому что на него упадут бояре с колосников во время спектакля о Петре I, но смех был невеселый. Сам Булгаков не любил, когда на него падали бояре. Ему было ближе, что у Чехова Треплев две минуты рвет свою рукопись перед тем, как застрелиться. Вы знаете, что значит в театре две минуты? А Чехов, думаете, не знал?

— Мой брат Олег Базунов пишет роман «Тополь», и ему все равно, что там происходит в мире, хотя, странно сказать, мир входит в этот «Тополь» целиком. Но ему плевать на частности и то, что меня раз-

рывает, — ему скучно, и он слушает это, как мы — утренний прогноз. А ведь я ему показываю письмо Де Голля ко мне. Как молодой петушок и недавний сталинский выкормыш, я уверен, что сочинения подвигают к миру, и я надписываю Де Голлю свою книгу, вышедшую по-французски. И он отвечает! Письмо писано на щегольской бумаге, в водяных знаках, с «марианнами», с десятью строчками титулов генерала и с пятью — письма, которые тем не менее лестны и обещают следить за моей судьбой во Франции. Но когда я еду во Францию в составе делегации — я, Гранин, Нурпеисов, Окуджава, — Де Голля уже нет в живых. Передо мной к самолету ковыляет маленький старик с рюкзаком в полспины, и видно, ему не сладко. «Позвольте, я вам помогу». — «Вот спасибо!» Я взваливаю рюкзак и приседаю, так он неподъемен у этого Святогора.

«Что это там у вас?» — «Это книги, сувениры для Арагона и Триоле. Позвольте представиться: Семен Кирсанов».

Наши места в самолете оказываются рядом. Он развязывает рюкзак, с которым не расстается и в салоне («Мало ли что, знаете, мне так спокойнее»), и там оказываются мерзавчики коньяку по сто граммов. Самолет закладывает вираж, рюкзак выскальзывает из его старых рук, и мерзавчики с веселым звоном катятся вдоль борта. Стюардессы кидаются подымать. Самолет перекладывает курс, и мерзавчики катятся на другой борт. Тут уж на помощь кидаются все, и со всех сторон слышно: «Есть! Поймал!» — и все передают по салону Кирсанову. Он на минуту смущается, но тут же забывает всех: «Вы с утра принимаете?» — «Увы, принимаю».

И мы начинаем принимать... Когда нас высадили в Копенгагене, потому что Париж не принимал, Кирсанов подхватил рюкзак и пустился к зданию аэропорта. «Оставьте, — говорит стюардесса, — мы же скоро сюда вернемся». — «Нет, уж я как-нибудь так, мало ли что...»

И мы замечательно коротали время до самого вылета в Париж. Но сувениров для Арагона и Триоле не осталось, и в Париже я нес рюкзак пустым...

— Поставьте-ка там пластинку. Анну Герман. В 1953 году я не мог наслушаться на корабле Надежду Обухову, а вот сейчас вдруг с такой страшной остротой услышал Герман. Не знаю, почему не слышал прежде. А тут на работах в проливе Вилькицкого радист врубил ее «Эхо». И я потом ходил просил гонять ее для меня, пока он не возненавидел нас обоих и не стал подзуживать, что она выше меня на две головы. Дурак! Что ему было объяснять, что я бы пешком пошел в Польшу, только чтобы поцеловать край ее платья, для одного этого я бы пробил башкой все заслоны, но мне сказали, что она умерла.

И еще несколько строк из дневника. Остановиться нельзя. Да и время (а это 90-й год) выглядывает неожиданной стороной.

Зашел к Виктору Викторовичу. Смешно завершается или развивается сюжет с его выходом из партии. Как в августе он был уверен, что его выход будет громоподобен и о нем будут твердить Би-би-си, и Си-би-эс, и «Свобода», и «Голос Америки», не говоря о своих радио и телевидении. Но вот прошло

несколько месяцев, и он получает приглашение в Президиум Ленинградской партконференции, потому что, оказывается, они не только не знают о его выходе, но и числят его членом Ревизионной комиссии, ставят в пример. И вот — зовут в Президиум. Виктор Викторович жутко матерится, но тут же своим манером замечает, что он сам не хотел этого грома, сам затыкал рты порывающимся восславить его поступок телевидению и Литгазете, потому что ему надоел шум вокруг своего имени («и всякие такие штуки-дрюки и все такое прочее», как он любит приговаривать). «Вчера, — говорит, — были Сашка Володин и Гийка Данелия. Сашка пьет, не просыхая, несколько месяцев, начинает с утра «грамм пятьдесят — для всплытия» и потом уже весь день. И все тихо, грустно — «откуда у хлопца еврейская грусть?» Тут именно классическая еврейская грусть — без причины. Дети в Америке пристроены, славы хоть отбавляй, а чего-то нет...

— Я, правда, боялся, как бы он мне в рыло не засветил. Он может, как всякий фронтовик. Дело в том, что у меня тут взяли интервью из хорошей газеты «Час пик». И я там сказал, что Сашка Володин всю жизнь спал с кондукторшами и продавщицами овощных киосков, таскал их в героини пьес, и они его за это любили. Но он засмеялся: «Да брось ты! Я не читал и не буду, хотя мне уже сказали и Фрида (жена А. М. Володина. — В. К.) уже гоняла меня. Станем мы еще на старости лет выходить из себя из-за такой ерунды».

Правда, может, причина была в Гийке. Они когда-то чего-то не поделили в «Осеннем марафоне», жут-

ко поругались и разошлись. А тут — Гийка. Он уже три года не пьет, и все манит и меня, а мне-то это на кой? Что я буду без водки делать? Я тут же все перебью от ненависти к нынешнему миру и повешусь на ремне от штанов. И давно бы это сделал, если бы не представлял, как Танька войдет, а у меня — язык на сторону: эстетика вшивая держит. Так вот, Гийка мне звонит и говорит, что до него доходят слухи, что у Володина все хреново. Это так? Так, говорю. Ну он и позвонил Сашке: Брось, говорит, старик. Кто у нас есть, кроме друг друга? Ну тот, конечно, заплакал, и вот они сошлись тут. И мне заодно были прощены и продавщицы, и парикмахерши.

Но эти-то мерзавцы, редакторы-то, каковы! Даже не позвонили, не показали мне, что я там наплел. Я им звоню: «Вы, — говорю, — что? Правил не знаете? Так я вас могу научить. Вы у меня, — говорю, — сраму нахлебаетесь». А они мне: «А у нас пленочка-то, вот она. Чего нас учить? Вы сказали — мы напечатали. Спасибо». Во суки!

Ночью врубает свет, стонет, рвется на мост «Новороссийска»: «Я же профессионал (любимое его слово и высшая оценка. — *В. К.*). Спасатель. Мы были там первыми, когда в отсеках в воздушных подушках еще держались последние живые». И опять повторяет и повторяет странную, не раз слышанную мной историю, как он «брал Белград», как взрывал коммуникации.

— А ведь я там никогда не был. Но я проверил у всех, кто воевал там, знают ли они эту песню. Я тебе сейчас спою.

И поет: «Ночь над Белградом кружится».

— Из них никто не знает. А у меня нет слуха. Я не мог этого придумать. Откуда это? Потом я был в Белграде сам, и все узнал, вспомнил. Я не знаю, что это. Может быть, я спятил?..

И потом, видно, по ассоциации:

— Как ты думаешь — кровь будет? Я знаю — будет! Я даже назову тебе время — когда Тюмень перекроет нефть и газ. И в Ираке будет. Буш же профессионал (тогда еще Буш-отец. — В. К.). Его сбивали на самолете, и его случайно подобрала в океане случайная же там подводная лодка. Эти ребята ничего не боятся. Я изучал его биографию. Я это знаю.

И так идет ночь — в стонах, мате, неожиданно поворачивающихся разговорах.

— А Олега Базунова вы не поняли. Это чистая прекрасная русская проза, которой не будет хуже оттого, что вы не разглядели ее. Это вам не Проханов, для которого я не пожалею времени, чтобы не вешал лапшу на уши, не щеголял невежеством, когда берется писать море или оружие.

— А это бросьте! Нечего там читать. Это Гриша Поженян. Надо написать о нем статью. А тут двух строк не наскребешь. Одно начало есть, как мы грузили картошку в Мурманске и подошла баба из портовых, следившая за грузом и подала газету — тут про вас. Гриша посвящал мне скверные стихи про нордкап, самую северную точку (не помню чего. — В. К.), и сразу соврал, потому что севернее ее точка норд-

кин. Ну и разве вспомню еще, как он в юности в институте нахамил кому-то из комсомольских верхов и его выгнали, сказав, чтобы ноги его больше здесь не было. И он тут же встал на свои волосатые крепкие руки и вышел из кабинета. Или как он снимал фильм «Жажда» по своему говенному сценарию, будучи говенным режиссером, и спасал фильм созвездием больших актеров, с которыми мучился каждый день, пока не придумал способа их укрощения, вызывая ослушника наутро и извещая его, что вчера он при переделке сценария убит.

— Как? — суетился великий, — у меня еще двадцать съемочных дней.

— Ничего не знаю. Вчера убит.

Другому грозил: «Ты только ранен, но смотри — долго не протянешь».

Это действовало. Только при чем здесь поэтическая книжка, про которую мне надо писать?

— Устал переодевать грязь в эстетику, написать грязь грязью — не дело художника. Жизнь надо вытаскивать из породы словом и ритмом. Я могу выдумать, что хочу. Я профессионал, я наблатыкался, но я не хочу выдумывать. Когда общество по шею в ..., писатель не может быть весь в белом. И вот устал. В любую минуту можешь загнуться, и это так просто, как дважды два четыре. А от тебя все художества требуют и корят вон Распутина, что публицистики много. И это после того, что добрые читатели сделали с ним. Радуйтесь, что вообще работает. Художник — это ведь здоровье лошадиное. А у нас разве кто спрашивает: как сердце, как вообще живешь?

Тянешь ли еще? Оглядываешься на итог, а машины не то что на «стопе», как раньше, а оба винта работают назад.

— Какое счастье, что у нас есть литература! Европа вполне прожила бы и без нее. А мы бы посходили с ума и потеряли человеческий облик!..

А я скажу: какое счастье, что у нас есть писатели, которые никогда не сделают литературу «работой», а проживут ее с последней страстью и силой, и только кровью сердца, и осветят каждое слово. И, когда жизнь оскудеет, не пойдут «собирать куски» выморочных сюжетов и тешиться умозрением и постмодернизмом, а тяжело смолкнут, пока жизнь не догадается о своем предательстве перед литературой и не разогнется во все великое русское сердце и не оживет вновь.

P.S. Мы прощались с ним прекрасным солнечным днем. Курсанты почетного караула в белых перчатках с карабинами казались гардемаринами прежних флотов. Андреевский флаг покрывал гроб, и холсты великих маринистов напоминали с училищных стен о блестящих русских победах на море. Оркестр при выносе вдруг нежно и неожиданно сыграл «Я знаю, друзья, что не жить мне без моря», и офицеры потупились, а мы и просто заплакали. Он бы тоже непременно спрятал глаза, потому что сердце его было детски чисто и он действительно не мог жить без моря

Отпевали его в Морском Никольском соборе, и

пока хор пел пронзительное «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть», я невольно вспомнил, как Виктор Викторович любил рассказ Юрия Казакова с этим названием «Плачу и рыдаю», как вообще был нежен к этому прозаику. Да и ко всем, кого любил преданно, часто прикрываясь зубоскальством и «трепом», но на глубине держа строгие правила дружбы с морской чистотой — так он любил Виктора Шкловского, Виктора Некрасова, Гию Данелия. Когда я наклонился поцеловать его холодный лоб, поневоле вздрогнул — показалось, он сам метнулся навстречу, так внезапно близко и любяще-живо увиделось это бледное, впервые спокойно-ровное лицо. Наверное, так казалось многим — так высока была тишина прощания.

Его положили на Смоленском кладбище рядом с бабушкой, которую он по-детски нежно любил до последнего часа и чьим высоким русским родом всегда гордился... Я не знаю, как он слушал гимн, успевший пережить славу и бесславье и до сих пор не могущий подняться на прежнюю высоту, но залп прощального салюта, взметнувший кладбищенских ворон, был ему по сердцу. Он был моряк, и клинок его офицерского кортика ни разу не был замутнен нечистым дыханием слабости и неправды. Так же, как клинок его чистой прозы.



«Только этого мало...»

Я очень любил слушать, как читает стихи Арсений Александрович Тарковский каким-то глухим и вместе звонким каллиграфическим степным голосом. Сначала услышал, как все мы в «Зеркале», в фильме его великого сына, где он так пронзительно читал не стихи даже свои, а саму жизнь. А потом уж покупал пластинки. Это было мужественно, сдержанно, как-то по-офицерски прямо и благородно. И образ в воображении был прям и прекрасен. Отчего я так больно удивился, когда увидел его в Переделкине на костылях (еще не знал, что он воевал и ногу ампутировали после ранения в 1943 году). И узнал, что он почти глухой. В стихах как-то не придавал значения проговоркам об этом, «не слышал». А ведь знал стихи:

Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома.

Разговора у нас не получилось. Попробуйте признаться в любви хорошему поэту, когда вокруг пол-

но незнакомых людей и вам надо кричать что-то умное. Но, похоже, он был все-таки рад моему лепету. Вечером оказалось, что мы живем с ним дверь в дверь. Но в другой раз я зашел к нему все-таки не сразу. Глухота делала его замкнутым. Хотя его жена, прекрасная Татьяна Алексеевна, которой он писал так любяще и печально «Я боюсь, что слишком поздно /Стало сниться счастье мне. /Я боюсь, что слишком поздно /Потянулся я к беззвездной /И чужой твоей стране», умудрялась как-то вкричаться, найти «частоты», которые не вызывали смущения.

Видно, я как-то занес Набокова, нечаянное слово о нем, потому что сейчас в дневнике первую же реплику вижу:

— Я не люблю Набокова.

— Ах, замолчи, Арсюша, ты его не знаешь, — ворчала Татьяна Алексеевна, — я не люблю, когда не знают и говорят. Ты читал «Лолиту», которая слабейший из его романов.

— Нет, почему, я читал «Дар».

— Но это замечательный роман!

— Да, этот неплохой.

— И потом ты был восхищен «Другими берегами».

— Да, и ими!

— Вот видишь, а говоришь. Он умел все.

Потом я приносил альбом с фотографиями Ахматовой, и он хвалил Делла вос Кардовскую и ругал Альтмана.

— Хотя она всегда была проще своих портретов, как-то по-бабьи беднее, даже при королевской осанке. Как-то в ней совмещалось то и другое. Но

художники, конечно, справедливо прежде всего видели «королевское».

А в другой раз они с Татьяной Алексеевной, перебивая друг друга, читали Ходасевича и Георгия Иванова, которого я от них слышал впервые, и сам потом все бормотал «Туман. Тамань, Пустыня внемлет Богу...» и особенно мучительный «Серебряный крестик в петлице»...

Зашел с «Подорожником» перед отъездом. Сидит, раскладывает пасьянс. На другой кровати раскладывает пасьянс Татьяна Алексеевна.

— Простите. Вот занимаемся... Этот пасьянс придумал я и назвал его «Бисмарк», потому что давным-давно прочитал у него, что не владеющего пасьянсом ждет одинокая и несчастная старость. До старости было далеко, до одиночества, казалось, тоже... А вот теперь пригодилось... Вот отсюда и «Бисмарк».

Больше не сказал почти ни слова, вставляя только при просмотре «Подорожника»: «О, Паша (об Антокольском)! Мы были с ним дружны. Он был похож на веселый череп. А это, смотри, Таня, это Анастасия Ивановна Цветаева. Какое хорошее стихотворение. Это драгоценная запись. А я лучше ничего не буду придумывать. Давайте я запишу вам старое, что я очень люблю».

А на столе: у него — большая фотография Андрея, еще живого, даже почти здорового и дивного, хотя и тоскующего *там*. Я брал у него свое первое интервью в качестве корреспондента молодежной газеты, когда он снимал в Пскове «Андрея Рублева». Потом бегал на съемки, и мои бедные рассказы о

тех днях чем-то были важны Арсению Александровичу, словно он сквозь меня видел те дни и свою тогдашнюю гордость за сына. А у нее, на столе напротив — портрет ее сына от первого брака, в чем-то похожего на Андрея и его лет, но, увы, уже ушедшего. Бедные одинокие старики. Они, кажется, потому и живали подолгу в шумном и, в общем, не очень уютном Переделкино, чтобы не видеть этих домашних пустых углов. И потому и стихотворение теперь отзывается во мне особенной болью.

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...

День промыт, как стекло,
Только этого мало.

А. Тарковский
Валентину Яковлевичу Курбатову на добрую память.
5 февраля 1985

Недавно я смотрел не очень мной прежде любимый «Сталкер». И сейчас изображение в фильме мало убеждает меня, что там, в зоне, «все другое» (может быть, потому, что теперь эта зона, эта смерть раскинулась на пол-России и где хочешь, там эту зону и снимай). Смерть и тайна трудно поддаются изображению. Слишком сильна и автономна сама плоть жизни. Она везде «пролезет» со своим. Но разговоры, но этот накал отчаянья, это страшное пограничье судьбы каждого из героев, эти горячие злые исповеди — как же я не слышал их прежде? Наверно, надо было доболеть сердцу до такого же внутреннего отчаянья и сознания ненужности и напрасности слова и «художества», чтобы сейчас слушать их так напряженно. И когда Сталкер-Кайдановский останавливается на пороге вожделенной комнаты, где сбываются такие, оказывается, всегда бедные человеческие желания, и с мучительной печалью читает вот это самое «Вот и лето прошло», я вдруг как будто разом понимаю все. И ровный ужас ухода, которым пронизано это неутоленное стихотворение, которое могло длиться вечно, ибо что ни назови (все радости и даже печали) — все равно скажешь «только этого мало», и сострадание сына, слышавшего эту неутоленность, и муку Сталкера, который бежит из вре-

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
ни добро не пропало,
Все горело светло.
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

А. Тарковский

Валентину Яковлевичу Курбатову
на добрую память!

5/II-85

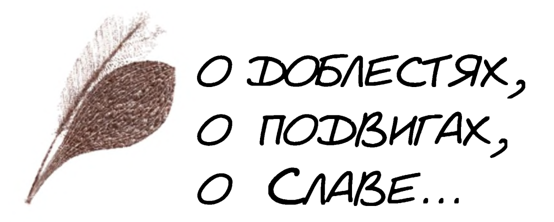
мени, как бежал сам Андрей в иллюзию вечности, где нет быта, нет слишком короткого дня, а есть тайна и есть вопрос, который дороже ответа.

Пройдет несколько лет, я узнаю замечательного внука Арсения Александровича — Михаила Тарковского, прекрасного прозаика, такого же «сталкера», нашедшего свою «зону» в Туруханской тайге на Енисее и не желающего оставлять найденное там, вернее нашего идущее время.

Недавно я получил очередное его письмо. Там были строки:

«Грустная и поучительная вся эта история с дедушкой и его последней женой. Неохота даже писать об этом, потому что получилось так, что, имея квартиру на Садовой, свой дом, жили они все последние годы в казенных домах творчества и ветеранов кино. Помню дедушку сидящим в уже какой-то старческой вековой полудреме с какой-нибудь книгой в руке. И как каждый час заходили люди, от которых он так устал за всю жизнь, что и сказать нельзя (и я, и я, наверное, так же. — *В. К.*). Так и жил он на выставке, а раз Татьяна Алексеевна говорит ему: расскажи, мол, Мише про Сологуба (он с ним встречался в юности). И он попытался рассказать, а потом затрясся от рыданий.

А до этого, когда я еще школьником был, он, естественно, был бодрее, моложе. Мы гуляли с ним, и он все время шутил, играл в перевертыши и всякие штуки вроде «Кулочная-бандитерская», всякие смешные стихи читал-сочинял. В общем, загадочный человек был и беззащитный...»



О доблестях, о подвигах, о славе...

К Ярославу Кирилловичу Голованову я бегал каждый день. Он жил в Переделкино чуть не через дорогу от Дома творчества, и я, стыдясь истязать соседей-сочинителей детским желанием поиграть на блок-флейте, ходил надрывать сердце Ярославу Кирилловичу, тогда для меня просто Славе из-за давности знакомства и многих уже вместе изъезженных дорог.

Господи, какой он был рассказчик! Не переслушаешь. Тут мне даже не выбрать — надо целую тетрадь переписывать, да еще глядеть, чего сам Слава в своих «Дневниках» успел напечатать, а что и нет. Да все про Байконур, про Центр космонавтики. Особенно именами-то не разбросаешься. Вот и я сейчас не буду. А расскажу только одну, по-моему, замечательную историю про то, что судьба любит иногда и поозоровать. И пусть имена останутся где подлинные, а где и *так, как запомнились,* потому что важны не имена, а чудо сюжета.

— Это мне Севка Иванов рассказывал, как сидели они у Королева в Подлипках — он, Севка, Королев, Раушенбах. Работы было невпроворот, но иногда язык

был свободен, и, по-моему, ироничный Раушенбах однажды посмеялся: «Да, — говорит, — ребята, слава после смерти, известность, газетки — оно, конечно, ничего, но как-то и обидно, что не посмотришь мир, не посидишь где-нибудь в Гонконге, не зайдешь, как Славка Голованов, в Бразилии на три метра в тропический лес и не накладешь в штаны от страха. И тут Севка по-русски залетел в эмпиреи. «А я, — говорит, — ребята, гад буду, а на свет Божий погляжу, выберу что-нибудь посерьезнее и рвану». — «Рванешь, — смеялся Сергей Павлович, — с печки на полати!» Ну а тот уж мыслями далеко-о. Все они там были ребята мечтательные, а этот чем хуже? «Возьму вот и хоть на Бермуды подамся!» — «Ну ладно, — говорит Сергей Павлович, — чем языком трепать, давай так: попадешь на свои Бермуды, мы тебя в «Арагви» поим-кормим. Нет — тогда уж ты нас давай! Время — помилосердствуем — ограничивать пока не будем».

И уж и Сева, и все они разговор забыли, а тут Севе как раз выпадает идти на нашем пароходе в составе экспедиции контролировать связь со спутниками из Атлантики. Оно бы уже и «тепло», как в детских играх, уже можно вспомнить обещание, да Бермуды-то — протекторат Штатов, туда носа не сунешь. А тут еще Сева опоздал в Одессу, и пароход ушел без него. Он докладывает начальству. Там говорят: «Догоняй как хочешь, ты там нужен. Дуй на самолет в Гавану, там подождешь». Ну, Сева на самолет — и в Гавану. А Гавана не принимает — тайфун. Мыкались-мыкались, горючка на исходе. Запрашивают аэродромы. Им разрешают островной аэродром, подлить горючего, но не пускают пассажиров и на ми-

нуту, потому что военная база... Сели, заправляются. Сева выглядывает в окно: колючка какая-то кругом, черные морды с автоматами вокруг самолета, US police на фуражках. Он к пилотам: «Где мы, ребята?» — «Да вот, — говорят, — Бермуды приняли на минутку...» Сева говорит, что все в нем оборвалось. «Ребята, ребята», — говорит, а больше и выговорить ничего не может. Ну, наконец, опамятовался, рассказал все. Те тоже завелись: «А-а, давай, — говорят, — побазарят, побазарят, но не застрелят». И выкидывают из пилотской кабины шторм-трап. «Я, — говорит Сева, — полез. Черные загалдели, автоматы вскидывают, а я лезу — сдохну, думаю, тут — все равно ребята стол будут оплачивать». Ничего, обошлось. Только ногой коснулся и сразу пулей обратно. И мы взлетели. Ребята написали мне на своем бланке официальную справку с печатью, и я горько жалел, что Сергея Павловича уже не было в живых, но Раушенбах, но другие... Выложили тогда сотни по четыре, потому что стол тогда в «Арагви» протянулся от Москвы до Бермудов.

А в автографе ничего этого, кроме моей «дудочки»...

Господи!
Дай мне силы пережить то,
Что я не в силах изменить.
Господи!
Дай мне силы изменить то,
Чего я не в силах пережить.
Господи!

Дай мне разум отличать
Первое от второго.

(Моя любимая испанская молитва)

Валентин свербит на дудочке, а я пишу своего «Цандера». За окном глубокие синие снега. В этом доме К. Симонов написал свое знаменитое стихотворение «Жди меня».

Жди меня, Валя. Я уже на дороге во Псков!
12 февраля 1985

Этой дороги в Псков так и не случилось. Зато остались рассказы. Много рассказов. И Бог с ним, если он сам записал их (я не видел) или я соврал что, но ведь правда не в именах и оттенках. Она — в дыхании жизни, в интонации, так что я все-таки еще на минуту загляну в дневник, чтобы продлить те счастливые часы и дни.

— Однажды к нам в «Комсомолку» зашел неопрятно-эффектный старик: «Говорят, вы создаете музей космонавтики? Возьмите у меня вот это, — и протягивает тридцать шесть калужских книжечек Циолковского. — Это полное собрание. Такого и в Ленинке нет». Оказалось — это старый московский книжник Михаил Давыдович Цепельзон. Я потом был в его доме — там надо протискиваться боком среди книжной рухляди, перемежаемой истинными сокровищами. Он чудно рассказывал, как однажды в развале у Первопечатника Федорова, где всегда толпились букинисты, он нашел первое издание радищевского «Путешествия», со-

Господи!
Дай мне силы пережить то,
Что я не в силах изменить.
Господи!
Дай мне силы изменить то,
Чего я не в силах пережить.
Господи!
Дай мне разум отличать
первое от второго.
(Моя любимая
испанская молитва)

Валентин свербит на дудочке, а я пишу своего „Цандера". За окном глубокие синие снега. В этом доме К. Симонов написал свое знаменитое стихотворение „Жди меня." Жди меня, Валя! Я уже на дороге во Псков!

12.II 85

[подпись]

жженного Екатериной: «Там не было двух первых страниц, но я уже знал, что это такое, и не мог стоять, но и сесть не мог, потому что все бы сразу догадались. Я купил книжку за те гроши, которые были на ней выставлены. И еще и до дома не дошел, как об этом уже знал Николай Николаич Смирнов-Сокольский (первый букинист Москвы тех лет — В. К.)

— Миша, продай! Ни за чем не постою!

— Коля, — говорю, — не будь ребенком. Ты бы продал?

Коля ушел, но жена уже слышала наш разговор.

— Ты посмотри, как одеты дети. Погляди, чем я их кормлю.

С той поры я прятал книгу, как мог, и, уходя из дому даже ненадолго, уносил ее с собой. Но однажды попался на срочную просьбу добежать за кефиром. Я еще и до магазина не дошел, как меня будто кольнуло, и я полетел обратно. Ни книги, ни жены дома не было. Я бросился к Коле, но опоздал.

— Ничем не могу помочь, Миша. Разве этим торгуют? Не будь ребенком, Миша. Ты бы продал?

С тех пор я живу без жены и воспитываю детей один.

— Сталин вызвал игравшего его в кино Геловани, о чем-то долго говорил с ним, потом пожаловался Шепилову: «Не думал, что я такой дурак!» Больше Геловани в этой роли не видели. Стал играть Алексей Денисыч Дикий. Тоже, как все хорошие люди, уже в лагере успел посидеть. После «Сталинградской битвы» он стал неприкосновенен, как сам Иосиф Виссарионович, ходил прямо через улицу Горького поперек движе-

нию в родное ВТО и выпивал свой литр. Однажды после литра его у подъезда перехватил полковник.

— Алексей Денисыч?

— Да.

— Вас вызывает товарищ Сталин.

— Боюсь, што я ему щас плохой с-сбсдник. Я не пъеду щас...

— А я вам все-таки советую поехать, — сказал полковник. — Это будет лучше для вас. Да и для меня.

Он сунул Дикого в ванну, надрал уши, напоил кофе — и в Кремль. Сталин принял его в том маленьком домике звонаря колокольни Ивана Великого, в котором жил. Алексей Денисыч рассказывал, что сидел, закрывшись ладонью и стараясь не дышать в сторону Иосифа Виссарионовича. Но когда Сталин похвалил «Сталинградскую битву», Алексей Денисыч забылся, отнял ладонь, чтобы жарко поддержать Иосифа Виссарионовича в оценке фильма, и так дыхнул, что товарищ Сталин встал и вышел.

Дикий побледнел и протрезвел: «Ну, все-о. Опять нары, параша, лесоповал. Да чтоб я еще когда-нибудь хоть каплю! Пропади оно пропадом!»

Сталин вернулся. Держа бутылку коньяку и два фужера. Нарезал лимон, налил пятнадцать грамм в один фужер и полный другой. И вот природа — Дикий уже поглядывал на полный и про себя частил: хоть бы мне, хоть бы мне! Сталин подвинул ему пятнадцать грамм, сам выпил полный, хотя обычно пил мало и только вино.

— Ну, Алексей Денисыч, а теперь поговорим относительно на равных...

И вот как глядит за нами судьба. Когда Дикий вы-

рвался, он, конечно, тотчас полетел в ВТО залить этот ужас. Там сидел его товарищ по нарам, будто ждал Алексея Денисыча. Да и наверно ждал.

— Ты сука! — сказал он народному артисту, — нашел, кого играть! — и в мертвой тишине, когда умерли, кажется даже посуда и мебель, плюнул ему под ноги.

Все уже знали, что Дикий (он не зря носил эту фамилию) щас — стол вот так! — и пойдет! Но он только отодвинул стакан от соблазна:

— Дурак! Я его не сыграл. Я его создал! — и спокойно вышел.

И вот и Славы уже нет. Но в слове-то — вот он. И рука в «Подорожнике», и счастье рассказов, и молодость тех дней.

ВСЯКИЙ РОМАН – РОМАН О СЕБЕ

Когда Б. Ш. Окуджава написал «Путешествие дилетантов» и оно вышло в «Дружбе народов», я, вопреки общему мнению моих знающих цену настоящей прозе товарищей, что роман «так себе», был потрясен и написал Булату Шалвовичу «читательское» письмо, где старался оберечь его и «предупредить», что такие романы о небесных возлюбленных «даром не пишутся» и имеют обыкновение сбываться. Лавинии (помните, так звали героиню романа?) приходят в снах, и ты уже и во сне знаешь о реальной несбыточности такого прихода и платишь по пробуждении долгим утром, когда не хочется ни подниматься, ни жить, потому что ЕЕ в этом дне не будет, как не будет уже и в жизни. А напишешь, так жди, что однажды она и постучится, а между вами уже жизнь. Ответа я не дождался. Есть вещи, в которые лучше не лезть. Но вдруг года через два мне позвонили из «Дружбы народов»: «Окуджава просит Вас написать послесловие к книжному варианту его «Путешествия дилетантов». — «Почему меня?» — «Не знаем». — «Могу ли я видеть Булата Шалвовича?» Ответ был скомканный и невнятный: «Лавиния»... «на перекладных»... «след потерян». Но ког-

да я закончил работу, Булат Шалвович был уже дома, выглядел невольником, и мы заперлись в его кабинете, как заговорщики. Я теперь уже знал «Путешествие», знал князя Мятлева, слышал его сердце и его тоску. Читать было трудно. Хотелось пожалеть автора — не напоминать об этой беззащитной, как крик в ночи, книге.

Когда я дочитал, он написал мне на память автограф:

Старались — не дышали,
любили, как могли...
Кому мы помешали
средь жителей земли?

За прочих не решали,
во что поверить им...
Кому мы помешали
падением своим?

Как будто на кинжале
кровавый виден след...
Кому мы помешали,
что нам спасенья нет?

Наверно, я побледнел. Он взглянул на меня, и мы больше не стали говорить о книге, торопясь закрыться общими местами, уйти в сторону, бежать...

Он показал портрет 45-летней Лавинии и сказал, что американцы прислали рассказ о ее дальнейшей судьбе (прототип был вполне реальный и даже носил то же имя). «Там были только замужества, замужества», — почти зло, как о личном оскорблении,

* * *

Старались — не дышали,
любили, как могли...
Кому мы помешали
средь жителей земли?

За прочих не решали,
~~[illegible]~~ во что поверить им...
Кому мы помешали
падением своим?

Как будто на кинжале
кровавый виден след...
Кому мы помешали,
что нам спасенья нет?

С самыми сердечными
чувствами

Б. Окуджава

24.5.85

сказал Булат Шалвович. Потом корил художника, у которого Лавиния — «дура из купчих». И это тоже ранило его, как личная обида. И запомнилось, как точная формула:

— Единственный исторический роман — это роман о себе. Остальное — только очередная историческая ложь.

Вечером он отвез меня к Нагибину в Пахру на дачу, и там мы опять говорили все о том же, о том же — Лавинии, поздней любви. Потом ходили слушать соловьев. Те были в форме, знали, что живут в писательском поселке, что их слушают «профессионалы», и не роняли себя.

Уже потемну Булат Шалвович уехал. Мы остались и говорили уже просто во все стороны. И в этот вечер, и на следующий день, и теперь все слиплось, как одна долгая беседа, словно и сам Юрий Маркович был «заведен» моим нетерпением.

— Вы читали «Человека без свойств»?

— Нет, Апт всячески выхвалял и рекомендовал, но я взглянул на толщину и отшатнулся.

— Тут вы повторяете Анатоля Франса, который все время считал Пруста второсортным сочинителем, приговаривая, что жизнь так коротка, а Пруст так длинен, и так и умер в неведении относительно истинных размеров гения Пруста в сравнении с собственным талантом. Музиля надо читать несмотря на чудовищный временами перевод доброго Соломона Константиновича. Апт мощно перевел манновского «Иосифа», а тут увяз. Я ищу у него подлежащее, как солдат блоху в штанах — где-то есть, а где? Я пло-

хо знаю немецкий, но все-таки воткнулся в оргинал — у Музиля подлежащее сияет как звезда. И мне при малости знания все-таки достаточно его света, чтобы прочесть и остальное, выбраться из темноты.

Нет, это великая книга. Поглядите, как Манн, такой блестящий и точный в оценках других писателей, сразу начинает маяться, когда речь заходит о Музиле. Так велик был дар этого нищего несчастливца, временами жившего по подписке. Ревнивый Манн сразу теряет слова, будто залез в колючие кусты, которые дергают за штаны, и ноги все время застревают в каких-то кротовьих норах — так тяжело и неуклюже он формулирует какие-то в сущности простые вещи, вроде того, например, что Музиль останется...

— Мы никак не научимся умирать по-людски. Говорят, это сумел сделать Пастернак. Когда меня хватил инфаркт (а это было рано, мне было 43 года), я лежал дома, а обслуживали тогда в нашей поликлинике кремлевские сестры. Это были истинные сестры милосердия. Они видели все. Так вот, они говорили, что Пастернак держался при раке ясно и жил полно, не храбрясь, не рисуясь, а уважая каждый день жизни, что отмечала и его возлюбленная Ивинская, его бедная Лариса из «Живаго».

Вороны вдруг разорались под окном и стали кидаться на его собаку Митьку, пролетая над самой головой. Митька залаял панически и к крыльцу, под защиту хозяина.

— Вы видели Хичкока — «Птицы»? Как они пошли войной против людей и стали нападать сначала по одной, потом тучами? Тут несколько дней назад я вдруг подумал о сбывшемся пророчестве Хичкока. Показалось, что за окном среди дня пала ночь. Ор поднялся до небес. Все вороны местных лесов прилетели под мое окно. Я вышел полюбопытствовать, чему обязан. Оказалось, из гнезда выпал птенец и они собрались все, чтобы спасти, потому что род должен быть целым, как если бы упал ребенок и к нему кинулись все матери Москвы. Митька забился под лавку. Я не знаю, не видел, как вороны подняли своего голого драного беднягу, но они его унесли.

Нагибинская кошка выходит понежиться под солнцем, и сразу через забор переваливаются «соискатели ее руки». Нагибин представляет: «Вон лезет Кабалевский, а вон Антокольский...»

— У меня отчим дружил со Шкловским и говорил, что однажды Виктор Борисович сделал признание, что слава о его таланте преувеличена, что на деле он изобрел только очень перспективный метод. Это правда — метод у него изумительный. Ведь весь мир связан, и каждое мгновение от него простираются лучи и тени во все стороны. Он слышит трепет листвы, видит, как за Митькой прыгает ворона, видит, как вы вспоминаете недочитанного Замятина, а я — скверный разговор с редактором о сокращении сцены выпивки в «Кальмане», а Замятин при этом как бы суверенно вызывает в памяти своих дорогих людей, как редактор — своих неприятных, и это сцепление

лучей порознь ничего не значит, а вместе — целый мир! И Шкловский ловил все эти лучи в перекрестие метода и, даже пустой, был полон. Везде у него торчали мускулы и череп. Женька Евтушенко его здорово снял — сверху, когда видишь один мощный, как купол собора, череп, а остальное уже только приложение. Но потом Женька и других стал так снимать и все испортил. Он вообще все разжижает. Вот летом он заехал ко мне в Вену. Я вляпался там в авантюру с «Петром I» и сидел на съемках, а он ехал на фестиваль в Зальцбург и заехал. И в машине начал душить меня стихами: «Хочешь, — говорит, — новое почитаю». — «Давай», — говорю. Он начал читать что-то долгое, тягомотное. Я вздремнул, очнулся, он все продолжает. Я отвлекся, потому что равнинная Австрия кончилась, пошли Альпы, засмотрелся. Он все журчит. Потом: ну как? «Длинно, — говорю, — Женя». Он разозлился. «Ладно, — говорит, — хочешь, «Дом Волка» почитаю?» — «Да знаю я его», — говорю, чтобы отвязаться. «Нет, ты забыл, слушай!» И опять пошли километры. Пол-Австрии — стихотворение. И только однажды меня как ударили: «мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей». Две строки, как кинжал — и те из Мандельштама. Знаете, как скверную статью читаешь и вдруг в середине ее блеснет цитата: что, думаешь, за чудо! «Вот, — говорю, — строки!» Он совсем остервенился. «Что же, — говорит, — уж совсем, значит, ничего?» И тут же хватил про Афганистан — коротко, мощно — за одну строфу башку бы сняли.

Увидев мой взгляд на его фотографию с Кайсыном Кулиевым:

— Это в Болгарии. Мы летели в Софию с Золотых песков, и Кайсын, разгулявшись, пустился раскачивать маленький самолет, пока не заголосили испуганные бабы. Катаев бормотал: «Когда Кайсына провожали за границу в родном Чегеме, аксакалы говорили: «Кайсын, не пей много огненной воды, в тебя вселится шайтан!» Так и вышло!»

— В Милане Андрон Кончаловский собирается ставить «Евгения Онегина», и днем, когда мы сидели с ним и директором Ла Скала в зале, Андрон попросил меня походить по сцене, чтобы проверить ритм и глубину фигуры в зеркале этого объема. Пошли занавесы — первый, пожарный, кулисы, и я подумал, когда еще мне представится возможность спеть на такой прославленной сцене, и хватил «Куда, куда вы удалились?» Рабочие, не слыхавшие за все время существования театра ничего подобного, остолбенели. Директор панически заорал: «Прекратите! Просите, что хотите, но ради Бога, прекратите!» — «Два билета на премьеру «Аиды», иначе продолжу». — «В мою ложу! — вскричал директор. — Только не надо!» Вечером мы слушали «Аиду» с 600-долларовых мест с толстым, слоновьи изящным Паваротти и бедным Борисом Христовым, у которого рак и которого они любят и берегут, потому что в Италии вообще нет басов.

— Перед фильмом «Председатель», после предварительного просмотра, испуганный Орловский обвинил меня в клевете, и меня, как щенка, таскала «Литературка» и все торопились разделить обвинения прототипа. А после фильма, после неожиданного и для меня

Писать серьёзно сейчас можно лишь на ихтиозавровом языке Василия Кирилловича Тредиаковского: „обло, огромно, стозевно и лаяй". Но поскольку к этой речи ещё не приучена моя гортань, скажу чужими словами:

„Надо, так надо, говорит, услышав стук в двери своего дома крохотного кулака обезьяны".

Юрий Нагибин

24/V 85 г.
Берег Десны — Подмосковье.

успеха он — косой, безрукий, ходил на все сеансы, дергал всех культей: «Видал? Это я! Понял! Это я ему говорил. Про меня это», — и боялся, что ему не поверят. А вот Вера Кальман, которая у меня в фильме таскается по мужикам и является в кадре голой, обращая тело в единицу расчета, в ответ на попытки принудить ее постращать меня, только смеялась: «Эта девочка в кадре почти так же хороша, как я».

Было хорошо, хотелось слушать бесконечно, но и как-то тревожно, странно, неприкаянно, как часто бывает весной, и чувства были под стать природе — дики и первобытны, что и выразилось темно и невнятно в автографе Нагибина.

Писать серьезно сейчас можно лишь на ихтиозавровом языке Василия Кирилловича Тредиаковского: «обло, огромно, стозевно и лайай». Но поскольку к этой речи еще не приучена моя гортань, скажу чужими словами:

«Надо так жить, чтобы услышать стук в двери своего дома крохотного кулака обезьяны.»

Юрий Нагибин
24 мая 1987, берег Десны-Подмосковной

БЕСЕДЫ ПРИ НЕЯСНОЙ ЛУНЕ

В 1985 году я был в Пицунде. Август был душный, работалось плохо. И все, кажется, только и ждали вечера, когда проступят звезды, зажгутся огни на рейде и по мере сгущения темноты будут разгораться все ярче и праздничнее. Дом был велик и неуютен и мало располагал к общению. Поэтому вечера были особенно отрадны. Дневник мой той поры невелик, но внутренне плотен. Я было думал взять его целиком, да так день за днем и напечатать, но вижу, что все-таки это было бы чересчур громоздко. Потребовались бы «воздух», пейзаж, беллетристика, чтобы мысль героев дышала свободнее. Но и при таких «вспомогательных лесах» все равно смущала бы внутренняя самостоятельность каждой темы, и усилие соединения все равно было бы видно. Из-за этого трудно читать какую-нибудь «Жизнь Клима Самгина». Герои слишком много напряженно и обдуманно говорят, и хоть Пушкин и требовал от прозы «мысли и мысли», но не замкнутых же монологов. Однако что уж теперь — как слышал, так слышал. Тоже и моря было не надо — только радоваться чужой мысли — за тем ведь и ехал. Вот почему я решил не делить автографы тех дней, а так и

собрать под одним небом, войти в одну воду снова. Тем явственнее будет плотность мысли и разговорчивый дух уже сдвинувшегося времени. Мы еще жили *там*, в *том* времени, в незыблемом Советском Союзе, но, как море вечером, все слышнее делалось дыхание уже обступившей горизонт грозы

Я еще не вышел тогда из дум о М. М. Пришвине, поэтому наша беседа с московским иркутянином Вячеславом Шугаевым, тогдашним секретарем Союза, занимавшимся молодыми писателями, естественно с Пришвина и началась. Вячеслав был крепок, ладен, уверен. Рубашки с короткими рукавами открывали сильные руки с медным браслетом на левом запястье. Видна была яркая зрелая сила и «пригнанность к жизни», где «ничего не тянуло и не висело». Мне Пришвин и нужен был как зацепка для разговора, а интересовали больше товарищ Шугаева по Иркутску Распутин и эти самые молодые. Самто много ли успеешь начитать при такой книжной плотности, а знать бы надо — вот и надеялся повыведать. В общем, корысть была.

— Я не помню, сколько мне было лет. Может, двенадцать, и я сильно болел не то свинкой, не то корью, с жаром, с плавающим сознанием, и читал тогда, когда делалось полегче, «Кладовую солнца» Пришвина. Там мальчик и девочка заблудились на болоте, и до сих пор помню чувство волнения и счастья, с которым читал, какого-то бесконечного света. Эта книжка тогда просто исцелила меня. И с той поры не перечитываю, боясь повредить счастью воспоминания. А вооб-

ще Михал Михалыч был умом лукав и увертлив, отчего «Осудареву-то дорогу» о Беломоре и проиграл. Можно ли свет из крови вывести и освобождающую идею из рабства? Какие мы все-таки по-прежнему рабы. И как это повылезло в последнее время. Все-то нам надо виноватых на стороне найти — в плохих руководителях, в чужеземных влияниях, во всем, кроме себя — жалкая, бабья черта. Не умеем на себя оборотиться. Вон, поглядите — ходит Иванов, народный любимец, точно чувствующий, кому где подсвистнуть. Я пять лет проработал в «Молодой гвардии» с ним, навидался. Типичный случай: приносит мне роман какого-то бездарного хохла. Подстрочник, выдаваемый за художественное произведение. «Погляди, — говорит, — он член ЦК Украины, да и Ваня Стаднюк просил — хорошие люди». Ну, я сунул нашему редактору по прозе, мастеру в таких вещах — мог из тридцати листов семь сделать по всем правилам отечественной правки. Тот взялся, а через день Иванов у меня: «Начали работу-то?» — «Начали», — говорю. «Так киньте в корзину — сняли его вчера». И не покраснел. Да и я не плюнул. Вот они мы и страдалица наша — литература. Какая уж истина! Ты, я, он — «хорошие люди». Это замещение настоящей ответственности. Не помню уж, где читал, как любили сиживать втроем Шаляпин, Андреев и Горький в жарких плисовых рубахах, в сапогах, где-нибудь в ресторане и говорить как бы уж и не друг другу: ты, Федор! ты, Леонид! ты, Алексей! Вот и мы тут взяли моду: ты, Федор! ты, Леонид!..

— Валя Распутин принял эстафету от Константина Федоровича Седыха. Только к тому относились

в Иркутске так же высоко. Я к Вале ревнив и субъективен. Может, оттого, что двадцать лет были друзьями и даже одну повесть сделали в соавторстве. Он человек талантливый и цепкий. Году в 72-м, 75-м — не помню — была в журнале «Сибирь» повесть Роберта Рыбкина о дезертирах. Там у него баба не пускает мужа на порог. Я на обсуждении говорил ему, чтобы он не порол идеологической хреновины, потому что баба есть баба — просто из жалости пустит. И вот через два года «Живи и помни» — сильно, верно, подлинно, кроме, может, воя Андреева и того, что Настена утопилась. Бабы как раз в распутинской деревне Аталанке при мне на завалинке судили: «Че это он вздумал Настену-то утопить? У нас эка-то живет и сын у ей вон трактористом работат». Правду старухи видят лучше. Реальность она драматургически проще и вернее, глубже, человечнее.

Однажды, год или два спустя, я передам этот разговор Виктору Петровичу Астафьеву и он скажет:

— У Славки есть очень талантливая повесть «Петр и Павел», лучшая у него, да и не у него одного. Он казался талантливее Вали. Я, например, первых рассказов Вали не принял. А теперь видно, кто чего стоит. Валина сердечная проницательность недосягаема. Этого тренировкой не добьешься. И Шугаев ни хрена не понимает, если думает, что Настена могла у Вали выжить. Некуда ей было деваться, и должна была она с дитем в себе шагнуть за борт. Живут-то в Аталанке, значит, не Настены, и, значит, бабы, на которых ссылается Шугаев, книжку не Валину читали.

— Мы вышли тогда одновременно — Вампилов, я, Лихоносов, Потанин, Валя. Валя ушел дальше всех, хотя какой-то серединной вещи еще не написал. Вот Саня Вампилов успел характер оставить — Зилова. Тип, который до сих пор театру не по зубам. Классический сегодняшний тип без корней и без кроны, один обглоданный ствол. И Витя Лихоносов глухой-глухой, а как написал «Люблю тебя светло» — там за акварелью, за нежной искренностью сказано все. И это все так горько и сильно, что, как и о Зилове, об этой вещи не говорят — это дальше злободневности и опаснее ее. А опять старух писать, про веру толковать, может, и надо — и польза тут есть, но главное-то неужели не видно — страна погибает, крепостное право не отменено, всеобщая ложь изломала все представления об истине, рабство цветет — какие тут старухи и какая тут вера?

По мне вернее Можаев, его «Мужики и бабы» — вот уж подлинно прекрасная книга, обещавшая прекрасную Россию, которую истолкли потом в 29-30-м году. Мне Залыгин рассказывал, как в пору блокады России братья сибиряки — в прямом смысле братья из алтайского села, — торговавшие отличным маслом дома и за пределами, когда эта блокада прижала их товарооборот, засели в долгую сибирскую зиму за английский и по весне отрядили младшего и смекалистого в Мурманск, где сидели англичане, а сами продолжали бить и скупать масло, пока брат не воротился с австралийскими какими-то этикетками, которые осталось наклеить, и блокады как не бывало! Ох, ребята были ушлые. И вся эта жизнь закатилась.

— Самый тяжелый документ, который я читал о раскулаченных, — это были воспоминания брата Твардовского, Ивана Трифоновича, простодушные, точные и от простодушия особенно пронзительные: как они ели, спали, умирали. Там много всякого написано, и как написано: с достоинством, какой-то общей твардовской осанкой, даже как будто и почерком одним. А мне ведь выпала целая зима с Твардовским. Мы с Саней Вампиловым в 65-м году приехали Москву покорять, все прожрали, все пропили, обносились, а нас не то, что печатать — слушать никто не хочет. Хорошо наткнулись на бывшего иркутянина Бориса Костюковского и он сунул нас в свою пустующую дачу на Пахре — картошка, говорит, есть, капуста — а нам чего еще! И в первый же вечер пришел Твардовский — вижу, говорит, окошко светится, дай погляжу, кто приехал. И потом четыре месяца, которые мы там прожили, приходил почти ежедневно и трезвый, и пьяный. Мог выпить полтора литра с одним соленым огурцом и уходил на своих ногах. Мы сначала хотели соревноваться, а потом отступились и не пили с ним. Чувство вины его при высочайшем чувстве достоинства, какого-то точно ощущаемого неоспоримого права на превосходство, которое дается самой силой дара, неунижающего снисхождения к нам, было нам хорошей школой. Он и Сталина хвалил, стихи свои, ему посвященные, нам читал и, может, потому и был таким страстным борцом с ним, с кулачеством и всем тем печальной памяти временем. Он в себе себя изживал. Укорить его не в чем. Может, это в нем сам талант защищался, побуждал к самосохранению — в таланте есть эта неприятная черта, и много среди

великих талантов не самых отважных людей, которые в другом зато идут с невиданным и уравновешивающим мужеством.

Нет, видно, я так про нынешнюю-то прозу от него ничего и не узнаю. Придется прямо в лоб спрашивать. И я спрашиваю. И он вспыхивает сразу.

— Продаю замысел — написать книгу о провинциальной литературе. У нас ведь в сущности три эшелона — те, кого всегда видно, те, кого видно поменьше, но привстань на цыпочки и увидишь, и тех, которых не видят, но которые делают в литературном обиходе очень много, не дают потерять уровня. Они спиваются, погибают (многие уж и погибли), но в духовном самостоянье они сделали и делают колоссальное дело. Евгений Суворов в Иркутске, Татьяна Набатникова в Новосибирске, Михаил Малиновский в Омске, Виктор Чугунов (этот уже погиб) под Кемеровом — колоссальные прозаики, и я уверен, они по всей карте — от Владивостока до Смоленска — пишут и гибнут. И гибнут часто, потому что не впрыснули вовремя веру, чувство сообщества, что критики не взяли на себя труд сопряжения. Критика локальна, недальновидна, боится труда и вместо труда предпочитает сетовать и притворяться утомленной разысканиями, но якобы нашедшей пустыню. А надо только возвысить мысль и перестать надеяться, что завтра принесут готовое, все примиряющее сочинение, которое прочтешь, и больше ничего не надо: тут будет и герой, и правда, и вся полнота жизни. Нет, ты поищи, походи, и удивишься богатству и догадаешься о коллек-

тивности литературного дела, о том, что все связаны со всеми. И только скажи этим «невидимым», что они делают общее дело литературы, найди им место в ряду, и они разобьют лоб и сделают чудо.

А про свое ни слова — про то, что сам пишет. Ну, может, я виноват — не спрашивал. Да уж если ты на себя наглядеться не можешь, так уж найдешь лазейку и похвалишься. Нет, тут чужое было важно. Конечно, важно и для себя, а все-таки и не только. Это уж видно с рождения нашей литературы — каждый как будто и за общим ее состоянием присматривает, и за него отвечает.

Разноречивые люди и случайные соображения, которые они высказывают, тем не менее сопрягаются под этими обложками в прихотливую и труднообъяснимую цельность. Вообще труд сопряжения (пунктиром, тенью которого является сей альбом) крайне необходим, ибо много у нас Иванов Несчастновых из Энских российских углов (Богданов из Новгорода), талантливых, безвестных, растоптанных, но с сумасшедшей верой в тускнеющих глазах в лучшую долю Отечества. Надо сопрягать их усилия, их несчастья, их не получивший гласности дар, их сумасшедшие веры, в конце концов. Давайте сопрягать!

18 августа 1985. Вяч. Шугаев

Встречу я на берегу и Натана Злотникова, которого совсем немного знаю по «Юности», где он заведует поэзией, куда прихожу иногда к своему товарищу, поэту Николаю Новикову. А и он, как Шуга-

Разноречивые люди и случайные соображения, которые они высказывают, тем не менее, сопрягаются под этими обломками в прихотливую и труднообъяснимую цельность. Вообще, труд сопряжения (пунктиром, тенью которого является символ) крайне необходим, ибо много у нас Иванов Несчастновых из энских российских углов (Болдаков из Новгорода), талантливых, безвестных, растоптанных, но с сумасшедшей верой в будущих шансах в лучшую долю Отечества. Надо сопрягать их усилия, их несчастья, их не получивших гласности дар, их сумасшедшие веры в конце концов. Давай не сопрягать?

18·8·85 г. Вл. Шугаев

ев, даже прежде, чем окликнуть друг друга общими знакомыми, сразу про то, что в уме вертится и, может, для какой статьи готовится, и тут, у моря, только проверяется.

— Году в 61-м Никита решил ремонтировать Кремль. Позвал патриарха Алексия (Алексия 1-го. — В. К.), спросил: не поможет ли чем церковь в ремонте национальных святынь? Патриарх посчитал тогдашние малые церковные возможности и отказался. Никита по обыкновению поорал на него и взялся сам. Ивана Великого одели в леса и, поочистив черный крест, засиженный галками, нашли золото, подпилили — опять золото. Крест оказался цельный. Полого литья еще не было. И тут его были пуды и пуды. Ну традиция золотых вкладных крестов была известна: на сорока сороках Москвы их стояли десятки, и Бонапарт, сметливый в традициях, в первый же день потребовал вкладные книги, сделал выписки и все эти кресты поснимал. А тут под боком — вон какая прорва. Никита опять позвал Алексия и спросил: что это? «Тайная милостыня, — отвечал Патриарх, — настоящий христианин не ставил имени и давал отступного литейщику, чтобы и тот молчал».

Так я это к тому, что в нашей поэзии в последние годы такой «тайной милостыней» были Николай Николаевич Ушаков, Сергей Николаевич Марков и Вадим Сергеевич Шефнер. Может, еще Варлам Шаламов. Их внешне, в честолюбивой нашей толкотне, будто и нет, а золотой их крест на Иване Великом стоит.

А сейчас странный и немного непривычный безлидерный период в поэзии. А мы в России привыкли к од-

ному — для всех несомненному... Тредиаковский был мудр — в лакейских дворца его мог унизить всякий, а на Парнасе он был первый, и это все знали. Таковы были каждый в свое время Державин, Пушкин, Некрасов, Блок, Маяковский и в самое последнее время — неоспоримейший Твардовский. И вот — никого...

В минуту грусти

Добрые мои товарищи,
Мы одним гребли веслом.
Разве слышал не вчера еще
Гогот зычный за столом?

Разве простенькой задачкою
Жизнь мытарила впервой?
Разве?.. Но как шла с подначкою
Шутка чашей круговой!

Проходила ночь за спорами
Не вчера ли, в старину?
И сейчас словами скорыми
Никого не упрекну.

Ведь не радость величальная
И не замыслов простор,
А беды труба печальная
Чаще нам играет сбор.

Август 1985, Пицунда

Дорогому Вале в знак сердечной приязни, с добрым и прочным ощущением неслучайности наших разговоров.
Н. Злотников

В минуту грусти.

Добрые мои товарищи,
Мы одним гребли веслом.
Разве слышал не вчера еще
Гогот звучный за столом?

Разве простенькой задачкою
Жизнь мыслилась впервой?
Разве?.. Но как шла с подначкою
Шутка чашей круговой!

Проходила ночь за спорами
Не вчера ли, в старину?
И сейчас словами скорыми
Никого не упрекну.

Ведь не радость величальная
И не замыслов простор,
А беды труба печальная
Чаще нам играет сбор.

—

Дорогому Ване — в знак сердечной приязни, с добрым и прочным ощущением неслучайности наших разговоров.

Н. Злотников

Пицунда, авг. 85

А вот Давида Кугультинова я искал сам. Имя уже учебниковое, школьное — из советской классики. Сейчас уже, верно, и у молодых людей этого чувства нет, а тогда еще слово «классик» значило много, как-то таинственно объединяя Толстого и Лермонтова, Тургенева и Пушкина, Навои и Шевченко. Советские классики стояли особенным отрядом. И даже не свои, русские, а именно великие поэты республик — Аветик Исаакян, Янка Купала, Микола Бажан, Расул Гамзатов и вот — Давид Кугультинов. За ними виделась какая-то особенная даль и глубина традиции, словно человеческий возраст был писан не про них и они были от века. Каковы же действительно были их мир и их мысль? Я волновался. Приготовил в поводы поклон из Михайловского от Семена Степановича Гейченко и разговор о Пушкинских праздниках — Давид был на многих из них, и повод был вполне хорош и уместен. Но он не понадобился, потому что и ему, видно, вечерами после работы было скучновато, и мы стали видеться, и я не мог дождаться вечера.

— Когда Михалков снял первый полнометражный «Фитиль», он пригласил нас отметить это дело, и вечером Наталья Петровна (она постарше мужа летами, и ее воспоминания более удалены во времени) предложила мне, чтобы почему-то именно я прочел из ее воспоминаний главу, как Толстой часто приезжал к Суриковым. А она, тогда пятилетняя, внучка Василия Ивановича, отлично помнила и бабушкину болезнь, и дедушкины беседы с ней. В особенности одну, запавшую в память после очередного отъезда Толстого, ко-

торого дом боготворил. Тогда бабушка уже была плоха, и Суриков часто просил ее о каком-нибудь поручении, и чем тяжелее было это поручение, тем ему отраднее было его выполнить. Так вот тогда бабушка попросила не принимать Толстого. «У него тяжелый взгляд, он видит меня насквозь и, кажется, даже просто наблюдает, как я умираю. Я вижу, как он следит разложение моих клеток, говоря при этом о неизбежности и примиряющей силе смерти. Мне тяжело и страшно под этим взглядом». И вот когда в очередной раз явился старик с тросточкой, которой он больше играл, чем опирался на нее, к нему выслали щвейцара и передали, что его не велено пускать. Надо было видеть, как граф на глазах постарел, и трость уже несла его до пролетки, в которую и сесть ему уже помогал кучер.

Тем летом я был у Астафьева в Овсянке. Мы много говорили с Виктором Петровичем о его последнем военном романе. И естественно, и тут не могли свернуть на войну.

— Я тоже форсировал Днепр. Мы тогда с Василем Быковым встретились в газетке «Боевая краснознаменная» размером с ладонь. Из нее, из этой ладони, после войны вышли еще два писателя. Самым мощным, конечно, остается Быков, и только инерция пока мешает нам осознать, что вклад его существеннее всех сочинений Ремарка и Хемингуэя. Он знает солдата на страшной глубине. Когда ему присудили премию, придурковатый, но в сущности безобидный Грибачев сказал в Минске с трибуны, что «мы (он был членом ко-

миссии по премиям) присудили Быкову премию за вот эту именно вещь (не помню теперь за какую), а не за те и не за все, потому что есть зрение солдата и маршала и настоящая война, весь ее горизонт виден только маршалу». Бедняга, а ведь сам был командиром батареи, немного выше солдата, а вот перешел после войны на посты маршалов и голову потерял.

Астафьев глубоко прав, говоря о разрушительной силе войны. Я, помню, говорил Мише Луконину, что его повсеместно цитируемая строчка, которой он и сам очень гордился: «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустою душой», на самом деле весьма сомнительна, потому что оставшийся с пустой душой — душу эту оставил на войне, выложился и отдал больше, чем руку. Тут истинная беда и истинное мужество.

Но что теперь говорить о мужестве. У нас не осталось его ни в жизни, ни в литературе. У нас был секретарь обкома Басан Городовиков — герой, на войне пер в пекло, а дуб дубом. Бедняге однажды на пленуме ЦК референт дал два варианта текста на случай поворота вопроса в ту или другую сторону. Он прочитал оба. Никита вел заседание. И вот другой герой, тогдашний секретарь иркутского обкома Щетинин, не утерпел и захохотал вместе с башкирским секретарем Нуриевым. Никита поднял их и напомнил, что их учили дисциплине еще в пионерах и им пора бы помнить эти уроки, и бедняги, как нашкодившие пацаны, потом вместе с Басаном публично извинялись перед Никитой и каялись, как в проступке, что не сдержались при виде глупости. Что вырастет из этого народа? Куда это все зашло?

Ну и, конечно, куда мы могли деваться от разговоров о поэзии — с поэтом-то? И, конечно, о переводах, которые всегда были проблемой для поэтов, живущих по-настоящему именно в русских переводах.

— В Шотландии мужчины ходят в юбках, но если вы их захотите перевести на русский, вам придется перевести их юбки штанами, иначе засмеют. И выйдет, как у нас — старые калмыки слышали, что Маяковский великий поэт, а потом читали добросовестный перевод, где и слог, и лесенка были, а смысла из-за дословности перевода не было, и посмеивались: «Ээ, у вас великий, а у нас в ауле есть маленький, но он лучше». Переводить надо дух и самое сложное — найти эквивалент именно на духовном уровне. Вы думаете, почему Пушкин так мало понят на Западе? Его время еще впереди, и только сейчас приходит настоящая потребность в его свете и тяга к нему. Я говорил с Ричардом Джонсоном, переведшим «Онегина». Он толокся по английским издательствам, и ему везде говорили одно и то же — своих не читают, а вы — Пушкин, современных не читают, а вы — Пушкин. «Тогда, — говорит Джонсон,— я пошел к Пушкину, как всегда ходил к нему в трудные свои дни: что делать? — спрашиваю. — А пошли их всех, — говорит Александр Сергеич, — и издай на свои деньги. Что я и сделал. И теперь спрос таков, что я уже выбираю издателей, и окупил расходы, и заработал на издание «Мцыри» и на продолжение Пушкина». Меня только смутило, что при этом он плохо говорит по-русски, а потом я понял главное, и сейчас скажу ересь: перевод-

чик не должен хорошо знать язык, потому что чем лучше он его узнает, тем больше втягивается в воронку смыслов и, наконец, отступается, теряет отвагу. Ему совершенно надо знать свой язык и верно схватывать суть, минуя частности. Жуковский переводил «Одиссею» с немецкого подстрочника, многим поступался, и — вот чудеса: там, где он миновал немцев, он, как выяснилось позже, приближался к греческому оригиналу.

Я говорю об утратах и непереводимости смыслов не в одном в Пушкине, а и вообще в чужой поэзии. На это Давид:

— *Конечно, конечно, это так. Но я о том, что в переводе гения иногда не обязателен гений переводчика. Гений не боится утрат. Он так изобилен, что они как бы даже запрограммированы — отчего каждое десятилетие ищет своего перевода. Это не из-за денег делается, а из потребности восстановления текста, из необходимости погашения утрат. Хотя, конечно, переводить, как у нас иногда это делают, — грешно. Я однажды спросил Давида Самойлова, как он относится к рифме «социализм — капитализм», он поглядел на меня с недоумением, а я сунул ему под нос его же перевод одного монгола. Давид не покраснел: «Извини, очень нужны были деньги, и я думал, что поэму прочли только я и автор, даже редактор ее, наверно, не читал». Вот чего не делают гении. Вспомните, у Пушкина в «Памятнике» ведь раньше стояло «и сын степей калмык» — звук какой, аллитерация как чиста —* сын *степей, а он вычеркивает и ставит глухое «друг», хотя не может не видеть, что оно хуже. А де-*

лает это потому, что калмыки жили в этой степи два столетия, что для истории — день, и, зная это, Пушкин поступается звуком для истины. Вот добросовестность гения. Вот почему не смог читать историю Гоголь в Патриотическом институте (потом институт благородных девиц). Он не нашел учебников, достойных предмета, и сам решил написать, а на это потребно было время.

А с калмыком в «Памятнике» в сороковые годы мучились, как теперь с «пьяным топотом трепака перед порогом кабака». Мой народ сидел в лагерях, мы были вычеркнуты из энциклопедии (поглядите старое издание — там нет ни нас, ни балкарцев, ни чеченцев), и «Памятник» обрывался на гордом внуке славян в многоточие. А после Норильска я сиживал у члена Политбюро, начальника КГБ страны с 1952 года Семена Денисыча Игнатьева, и он рассказывал, как после смерти Сталина пересмотрел дело врачей и увидел, что все чистые люди, и после этого склонил ЦК к пересмотру и остальных дел. Он говорил мне, что его воспоминания опубликуют через 100 лет. Поживем — увидим, для этого должно прийти поколение, у которого не замараны даже деды. Далеко еще. Тогда встанет большой памятник Хрущеву, потому что он по политическому значению третий после Ленина и Сталина. И до ростков мы доживем. Ведь Игнатьев говорил, что вместе с его мемуарами напечатают и Жукова, а Жуков уже вышел. И ста лет не понадобилось, хотя, конечно, этот материал проще.

А я с благодарной завистью гляжу, как поэт цепок памятью, как легко и естественно не оперирует

даже, а дышит цитатами из прозы Пушкина и Гоголя, хорошо сцепляет их и все время как будто оставляет за ними поле — такой еще чувствуешь простор и спокойное знание.

— Слово бесконечно в связях. Лучше всех это знал Хлебников, пытавшийся изменением молекулярного состава слова изменить его суть. Вы знаете популярность киевского алмаза «Славутич», который добывается изменением кристаллической решетки графита и применяется при бурении на больших глубинах и не горит в отличие от природных алмазов, содержащих углерод (когда сгорают банки, стоят целые сейфы, а бриллиантов в них нет — сгорели). Хлебников искал свой, не горящий «Славутич».

Мне все не дает покоя его обмолвка про Норильск. Короткая наша память успела загородить в сознании тяжелые страницы истории. Лагеря, ссылки — что-то давнее, из выцветающего учебника обществоведения, словно уже не из нашего прошлого. А тут — рядом и даже как будто обиходно, как о естественном.

— Я не вычеркиваю лагерь из своей жизни, хотя я поступил в литинститут в 1939 году, а закончил его, как сказано в дипломе, в 1961-м. Я сдал 50 экзаменов за 30 дней экстерном и получил диплом с отличием. У меня была школа, и эта школа была оттуда. Там, в Норильске, академик Федоровский и геолог Урванцев (когда-то открывшие здешние месторождения, которые потом разрабатывали зеки), математик Шмидт, старые литературоведы вкладывали в меня свои зна-

ния, чтобы сберечь хоть толику их. Они бы искали в слушатели такой же сильный талант, каким были наделены сами, и призывали бы гения, но пока их не было, отдавали мне в надежде, что если я сам и не усвою, то донесу до тех, кто воспользуется этим знанием лучше меня. Старый профессор филолог, редактировавший газету «Эхо Литвы» и бравший интервью у Чемберлена и Сталина, Гитлера и Муссолини, знаток четырнадцати языков, читал мне Гомера по-гречески и в переводе Жуковского и комментировал текст, как умели это только ученые классической школы. Им некуда было девать свои знания, как теперь некуда девать усвоенное там мне, ибо многое из усвоенного тогда далеко от поэзии.

— Жена читает Пикуля. Я пролистал и отступился. Духовная невоспитанность приводит к отсутствию доброты. Пушкинская «милость к падшим» всегда была девизом нашей литературы. Пушкин писал «Капитанскую дочку» и брал в герои Пугачева. А Пикуль берет Екатерину и Потемкина и, зная, что крымские татары лишены родины и умирают в изгнании, устами Потемкина жалеет, что их не вырезали уже тогда. Я не могу этого читать.

А заканчиваются наши беседы тем же Михалковым, словно в обдуманную рифму к началу — видно, поэты «держат сюжет» без заботы о нем, улыбкой музы. Кажется, «рифма» явилась в ответ на мое замечание о красивой молодости, которая весело набивается в лифты, оставляя нерасторопных стариков влачиться на свои этажи пешком.

— Салтыков-Щедрин говорил: «Прекрасное не должно быть укором!» Когда Михалков и Товстоногов сделали для «Современника» спектакль по «Современной идиллии», то почему-то именно из-за этой реплики тогдашний зав. отделом культуры ЦК (поэт назвал и фамилию «героя», да я не удержал в памяти. — В. К.) готов был остановить спектакль. Там на заднике были рисованы чудеса храмов, и реплика читалась особенно укоризненно — «Прекрасное не должно быть укором современности». Снять и все! Михалков, заикаясь, пустился ссылаться на Салтыкова. Не помогло. Но тут, слава Богу, вышел кто-то умевший читать психологию членов ЦК поразборчивее: «Михалков взял только то, что можно было взять у Щедрина. Ведь не взял же он, к примеру, его фразу «Разбудите меня среди ночи и спросите: что делает Россия? И я скажу, не задумываясь: ворует!» Ведь не взял же!» Тут возвысил голос и Товстоногов, напомнив, что у него через всю сцену в грибоедовском «Горе от ума» пылало «Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом». Ужас этих двух последних изречений так поразил несчастного зав. отделом, что он уже не настаивал.

Никак мы тогда из матушки политики выкарабкаться не могли: куда ни повернись, непременно заденешь. И не в неловкости было дело, а больно уж тесно она меблировала нашу жизнь — не протиснешься. Но зато как же слушалось и слышалось слово! Как были хороши эти долгие вечерние разговоры над морем, которые я слушаю сейчас памятью с печалью и любовью. Эти голоса просты и обыкно-

венны, и теперь их уже не слышно, но отчего же я с удивлением думаю: как недавно у нас была литература там, где теперь есть только множество прекрасных и ничтожных книг. И этого уже не будет, хотя бы каждый из нас был умнее всех их вместе взятых. Как хотите, а мне этой утраты жаль!

На память В. Курбатову

В поблекшем парке городском,
Где пахнет пылью и горючим,
Журчит целебным родником,
Будя мечту о самом лучшем
Волшебной музыкой своей
Неутомимый соловей.

Будь благодарен соловью!
Не розы вкруг него, не травы.
Творит он музыку свою
Из горькой городской отравы
И шлет тебе поток рулад,
Внутри себя оставив яд.

Перевод Ю. Нейман.

23 августа 1985, Пицунда
Д. Кугультинов

Дмитрия Михайловича Урнова, тогда редактора «Вопросов литературы», я знал и высоко ценил со стороны вовсе не литературной. Я как-то залпом прочитал его книжку «Железный посыл» — пересказ судьбы великого наездника Насибова — и долго потом толкался по конюшням псковского ипподрома,

На память В. Курбатову

* * *

В поблекшем парке городском,
Где пахнет пылью и горючим,
Журчит целебным родником,
Будя мечту о самом лучшем
Волшебной музыкой своей
Неутомимый соловей.

Будь благодарен соловью!
Не розы вкруг него, не травы.
Творит он музыку свою
Из горькой городской отравы
И шлет тебе поток рулад,
Внутри себя оставив яд.

перевод Ю. Неймана

Д. Кугультинов

23 VIII - 85 г.

Пицунда

радуясь возможности по утрам прогуливать лошадей, разминать их на дорожке и даже дня за два до бегов гоняться в колясках с такими же утренними чернорабочими конюшен. Но не сразу же говорить о лошадях — дом-то писательский и потому первый разговор, естественно, о том, что на столе.

— Сижу над однотомником Шекспира для «Художественной литературы».

— Но у нас был однотомник 40-х годов с отличным Пастернаком. Для чего же дублировать?

— Ну, с тем своя история. Во-первых, тот был больше объемом. Во-вторых, делался на специальных трофейных немецких машинах вроде тех, которыми пользовалась фирма М. О. Вольфа перед революцией. Потом машины изломали и однотомники прекратились. И потом все острее встает вопрос переводов. Мне было легко выпускать Шекспира для «Школьной библиотеки». Взяли переводы XIX века, которые «толпою, врозь и парами» рассеяны в русской поэзии и прозе XIX века, закавыченные и раскавыченные, и это был ход вполне достойный — свои среди своих, без вторжений XX века. К тому же там были чудные удачи, вроде «Гамлета», переведенного Полевым. Он и убрал порядочно, и «своего» понаписал, но сделал это талантливо, мощно, с напором. Вспомните хоть это: «За человека страшно мне!» Там было в чем блистать Каратыгину и Мочалову.

А теперь надо показать по возможности именно Шекспира. А выбрать трудно. Старики вроде Кашина и Вайнберга были серьезны и почтительны к текстам, но свой язык у них был тяжел и громоздок. Лозинский,

которого хвалил Морозов, — слишком филологичен и скучен. В нем совсем нет того шекспировского напора, который точно схвачен Полевым. Все, конечно, тотчас подсказывают Пастернака, но тут все особенно темно. Хотя есть переводческие удачи «получше самого автора». Вместо какого-нибудь «век вывихнул сустав» он мог сказать «распалась связь времен», что по силе стократ мощнее. Но я до сих пор не знаю, с какой целью он садился за перевод — то ли пересидеть темное время в своей поэтической судьбе, то ли просто попробовать и это — так далеко это от оригинала и так перекрашено. В старое время Лермонтов писал, например, «Из Цедлица», и мы аттестовали это как перевод — тут поэт летел над поэтом. Вот и у Пастернака — «из Шекспира». Только почему-то на титуле стоит — «Шекспир».

Вообще в переводах особенно выказывается честолюбие. Один говорит — дай-ка я передам грубость Шекспира. И передает. А другой: а я сложную конструкцию образа. И тоже передает. И оба горды и авторитетны. «Я» у них ростом с Шекспира, а настоящего-то живого текста и нет. Смешно сказать — у нас в ИМЛИ нет группы Шекспира, нет группы Пушкина, тех необходимо цельных коллективов, которые могли бы «держать эпоху». Спроси у нас, как приняли современники «Войну и мир» или «Мцыри», «Онегина» или «Обломова», — мы не сразу ответим. А с Шекспиром еще сложнее. А между тем пока не будут ясны все связи времени — от пряжки на камзоле до анекдотов о короле, — перевод будет провисать и будет пригоден для нынешней сцены, но не будет памятником, который необходим, как золотой метр.

И мне бы слушать да слушать, а я нетерпеливо увожу беседу к лошадям, не дожидаясь, когда она сама придет к ним через Макбета и Гамлета. Мне не терпится услышать о Насибове, который для меня в этот час «выше Шекспира», как базаровские сапоги. Как он реагировал на книгу, которая принесла ему славу большую, чем все его золотые скачки.

— Очень просто. Теперь надо писать вторую часть моей жизни! Это существо замечательное: вот тут как бы земной шарик с мяч, а рядом он, Насибов, и он держит этот мяч в руках. Это смелое самосознание, уверенное, как его посадка, когда казалось — он сидит недвижно, а это лошадь реет под ним, очень помогало ему всегда. Ведь скакать в «Триумфальной арке», например, это нельзя словами передать — миллионные жокеи на миллионных лошадях скачут за миллионным призом. Профессионалы, элита, золотые списки, а он скакал как дома. После него были хорошие ребята, но те пасовали сразу на старте. Может быть, это потому, что он вышел из старой жокейской школы. Он видел, как скакали братья Ласт или мощные поляки старой школы Треба и Груда, когда жокеи были еще жокеями и лошадиный мир, мир ипподрома — замкнутым миром, где были свои среди своих и конюхи выходили из конюхов, жокеи из жокеев. Я еще застал это, когда, сходя с троллейбуса на Беговой, обрывался на столетие или на мир в сторону. И еще были лошади! Ведь коневодство — это, в сущности, переливание крови. У нас до революции был заведен хороший породистый материал. И Орловым из Англии, и бакинским нефтяником Манташевым из Персии. По сто тысяч

платили! После революции нового уже не было, и лошади сводились и разводились на ближних ветвях. А вспышка резвости дается длительным опытом пересечения ветвей, и чем более материала, тем удобнее поле. И когда мы сейчас (да и я тоже по трусости) говорим, что вот немцы угнали у нас лучших лошадей, то надо Бога благодарить, что угнали, потому что там уже все было истощено. Зато мы ведь привели семь трофейных жеребцов. Клад! И там был Эталон Ом, который дал потом Элемента, а Элемент дал насибовского Анилина. Опытные мужики из лошадников это знали. И я помню, что первым вопросом директора лондонского ипподрома, когда он приехал сюда, был: «Ну как тут у вас трофейные лошади?» Наш пошел плести, что попробовали — ничего не вышло, а я переводил, и мне надо было выпутываться, потому что я-то знал, что мы скачем на этом запасе, который тоже все беднее. Если в Америке сейчас около 7000 породистого материала, то мы едва наберем 70. Какая уж тут оборачиваемость крови. А покупать жалко. Мы и после войны-то схватились за голову, когда за лошадь брали миллион, а сейчас уже берут жеребца за 27 миллионов. Нам не по зубам. А они не проигрывают, потому что к ним записывается весь мир. Да еще и не попадешь — и все это хорошие деньги.

— Сейчас насибовых нет. Иногда только в ком-то пробрезжит что-то, как в хорошем сегодняшнем Чугуевце, но это уже любительство. Или какая у нас была Машка Бурдова! Сидела как! В Америку возили — там женщин в жокеи не пускают (столкнут, подобьют, изувечат) — они мешают ставки. Машка была

одна, но запилась. Теперь, говорят, моет кружки в Филях, в пивном ларьке. А стояла под юпитерами мировых телекомпаний!

На другой день я уже ждал. Надеялся — продолжим. А он опять за свое.

— Судьба иногда дарит подарки и надо соответствовать дару, а ты еще слеп. А спохватишься — судьба уже отвернулась. Мы выпускали собрание сочинений Луначарского, и у меня был доступ к его архиву. Теперь бы чего только не высмотрел там. А тогда зацепился только за Платонова. Вдруг мне попалась верстка фрагмента из «Чевенгура». Она называлась «Ревзаповедник, или Путешествие в 1923 год». Верстка слежалась нетронутая, и ржавая скрепка прижимала записку Вяч. Полонского, тогдашнего редактора «Нового мира» (значит, верстка была новомирская): «Анатолий Васильевич! Пора, наконец, разобраться в границах советской сатиры!» Фрагмент остался ненапечатанным. До сих пор разбираются, и воз где стоял, там и стоит, а исследователи литературы 20-30-х годов уже умудряются обойти «Чевенгур» и «Котлован», словно их не было. Ответа Луначарского на эту записку не было. Он не писал, а диктовал. Но раз не напечатали, значит, нашел, что продиктовать.

Тогда же был смешной случай с текстологами. Мы мучались, выверяли цитаты, путались в огромном материале. А среди нас был самый опытный Николюкин. Уже напечатано у него было много. Вот, думаем, этот покажет. И он действительно скорее нас при-

нес свой комментарий. И там напротив фразы Луначарского, например, «Гете где-то сказал: Шекспир и нет ему конца!» стояло — Батюшков. «Общий курс истории литературы». Дальше, положим, попадалось «Однажды Гейне писал», и у Николюкина следовало: Батюшков «Общий курс...» И так далее. Что ни цитата, то Батюшков. Наш тогдашний директор не выдержал: «Ты что, смеешься? Что у тебя везде Батюшков? Лень над источниками посидеть?» — «Да нет, — ответил Николюкин, — я сидел и могу привести оригинал, но дело-то в том, что у Луначарского цитата взята именно из Батюшкова вместе с этим «Гете где-то сказал...» Анатолий Васильич до запятой повторял все искажения этой книги и историю литературы, видно, толковал только по ней, потому что помнил ее авторитет еще со школы».

— Мне тогда повезло. Я нашел вторую половину его статьи «Бэкон в окружении Шекспира» и, копаясь с комментариями к ней, наткнулся на неприятно искушающую мысль, которую чешется язык обнародовать. Сам тон этой статьи, а особенно пометки на книгах, просмотренных к ней, привели меня к убеждению, что Анатолий Васильич все время примерял на себя Бэкона и находил в этом тайное удовлетворение. Оба были драматурги, оба — политики со своей диалектикой отношения с истиной, свойственной этого рода профессии. Так что Анатолий Васильич настойчиво подчеркивал у Френсиса Бэкона Веруламия те черты, которые, видно, уязвляли его в себе, а тут как бы легализовались. Везде особенно подчеркнуто, что тот был коварен, без церемоний отправил своего учителя

Саутгемптона в Тауэр и проголосовал за казнь, подчеркивалось, что он был второй с наклонностями первого.

Говорят, когда епископ Кентерберийский узнал, что Карл V перед казнью читал Шекспира, он сказал: «Дурак, ему надо было читать Библию, тогда бы этого с ним не было!» Вот и Анатолию Васильичу надо было читать Шекспира, а не Бэкона, и, может, тогда с ним тоже этого не было бы.

Я бывал у них дома. Наш директор в институте говорит: «Ты у нас из интеллигентной семьи. Иди, давай, веди себя там как следует, чтобы нам выйти к их бумагам». Я говорю отцу, что собираюсь к Луначарской, и он вспоминает, что учился с ней. Ну, тут сразу все упростилось. Я заготовил фигуры красноречия, жму на звонок и с порога говорю Ирине Анатольевне: «Вы знаете, вы учились с моим отцом...» А она: «Что это вы плетете? С каких это лет?» И дверь перед носом захлопнулась. Мне хватило наглости прийти на следующий день, чтобы разъяснить заблуждение. Она встретила меня опять на пороге довольно грозно: «С теткой учился ваш отец! С теткой! И это было сто лет назад!» Я понял, что я оскорбил возраст еще не старой женщины.

Потолки у них были двухэтажные, и комнаты походили на залы. И когда я вошел в святилище — в кабинет, письменный стол был завален, вы не поверите чем — старыми беговыми программками. Тогда на них были фотографии наездников, и я их всех узнавал. «Ну, раз вы так все это знаете, возьмите все это». И я, дурак, пустился в психологические прикидки: если сразу хапну, она подумает — э-э-э, вон он как сразу!

И больше ничего не увидишь. «Нет, — говорю, — что вы? Как можно...» А теперь уж это все где-нибудь в макулатуре сгнило, выкинутое при их переезде.

И тогда же мне была явлена еще живая старуха Розенель. Я тогда бредил драматургией. Помните у Герцена: среди нас были непременные юноши, писавшие пьесы без действующих лиц? Вот и я хотел написать что-то такое. А она играла когда-то Верне — пьесу для одного лица, где были только женщина и телефон. Этот Верне оказался коллаборационист, и пьесу сняли, но теперь, говорят, она опять протиснулась. Старуха вышла ко мне в полном параде причесок, юбок, теней и румян, зная, что я про ее выход прожужжу все уши, и надо, чтобы в рассказах было, что она в порядке. И старуха была в полном порядке!

— Все эти мелочи, и в особенности об Анатолии Васильиче и Френсисе Бэконе, надо бы пристегивать в мемуары, чтобы образы наших героев не были так плоски, но кто же пишет подлинную историю. Вы вот мне рассказывали о петергофских экскурсиях Гейченко перед маршалом Тухачевским. А мне однажды позвонил Константинов — вы знаете этого графика по Шекспиру — и сказал, что знает художника, чей отец скакал еще на Холстомере. Как тут было не побежать. Художник оказался Полянский, и отец его действительно в жокейских преданиях числится на больших ролях. Но Холстомер был уже из тех бесчисленных холстомеров, которых породил Толстой. Но дело не в этом. Не знаю, как мы тогда кувыркнулись в беседе, но мой крепкий молодой 75-летний собеседник сказал, что пришел в графику из профессиональ-

ных военных и что учился в кадетском корпусе вместе с Тухачевским и может свидетельствовать, что Тухачевский, странно сказать, был очень посредственным военным. Он просидел всю войну в плену у немцев и был выпущен по репарации. И потом не провел и не разработал ни одной операции. Мне, говорил художник, старому человеку, нет поводов для зависти. Я только следил за его карьерой и говорю, что знаю. Это был кабинетный интеллигент, не рожденный для поля боя, и вряд ли лично участвовал в своих посредственных операциях. А вот импровизации Гейченко действительно мог оценить.

Очевидно, в мемуарах должны быть и такие повороты и суждения, хотя бы проверка их. А пока думаешь да проверяешь, воспоминания уходят во вторые руки. Вы вот пересказывали мне слова Голованова, что Королев был на Колыме. А я позволю усомниться, потому что мой дед по матери Борис Никитич — один из первых авиаторов, а потом историк авиации, хранитель архива Циолковского, вывозивший этот архив в Омск, — именно в Омске и встретил Королева, и они возвращались в Москву вместе в одном купе. Вот видите — Омск, хотя это и не исключает Колымы.

А вообще лагерная тема нам еще предстоит. Циолковский сам просидел две недели в ЧК в 1919 году, словно открыв список. Один Цандер умер сам — судьба хранила. А талантливейший Кондратюк сгинул в лагере, успев перед войной сунуть архив деду. Потом Королев, Глушков — вся космонавтика.

— Будете в Москве, загляните в Музей коневод-

ства. Собственно это и не Музей коневодства, а лошадь в искусстве — так, скорее, потому что там лучший Сверчков и лучший Лансере. Музеем мы обязаны Яков Иванычу Бутовичу — был такой конезаводчик, собравший у себя в Прилепах под Тулой эту коллекцию. Яков Иваныч был бретер, лицемер, тот еще жук, провокатор, интриган — все на свете. Они все в роду были такие. Его брат проделал тот номер с Изумрудом, который описал Куприн. С революцией Яков Иваныч смекнул, что надо держать нос по ветру и тотчас сдал свое собрание государству, за что сподобился чести наименоваться директором музея и сидеть среди своих картин на законных основаниях. Его жена был то ли сестрой жены Троцкого, то ли чем-то похожим, и он входил в высокие двери как к себе, пока к 25-му году не стало темнеть и он не понял, что ему все равно сидеть, но лучше сидеть по уголовным делам. И он зажилил конную статую Яна Собеского и тем как бы украл национальное сокровище, да еще сокровище другого народа. Где он взял эту статую — его тайна. У него был нюх на вещи, как и на породы. Все рукой махали, а он брал, и его орловские начинали бегать, оставляя за флагом самых прытких. К 37-му он уже вышел, вернулся на ипподром. Был так же хитер и брезглив к новым, и сидеть бы ему второй раз, но он умер как раз в 37-м году, так что и датой смерти сыграл последнюю игру, позволив теперь исследователям думать, что погиб вместе со всеми. После него прибавились только скелет Бычка, о котором писал Герцен в «Былом», его бричка и скелет Улова — одного из резвейших в новое время, да рукопись Яков Иваныча, который написал не только историю всех картин, но и

истории всех изображенных на них лошадей — замечательный фонд, который кормит теперь всех околошадников и меня грешного.

Теперь, правда, он кормит его уже в чужих краях. Кажется, в Штатах. Там, где больше «породистого материала». Только радуют ли его тамошние бега и скачки? И выводит ли он еще русские тройки, как делал когда-то на наших «гастрольных бегах в чужих странах» (а это искусство особенное!). Но здесь любил и знал и дивно писал о русской лошади. Спасибо, Дмитрий Михайлович!

В. Я.,

Наши беседы в прибрежных камышах или, точнее, у берегового бамбука — прекрасная память об этих прекрасных местах.

Будем надеяться, что со временем все это и бумага выдержит.

Рад был познакомиться.

Уважающий Вас Д. Урнов.

Август 1985, Пицунда

В. Я.,

Наши беседы в прибрежных самшитах или, точнее, у берегового бамбука — прекрасная память об этих прекрасных местах.

Будем надеяться, что со временем все это и думается выдержит.

Рад был познакомиться,

Уважающий Вас,

Д. Урнов

Пицунда, авг., 85.



История с географией

А это новое ироническое вторжение Д. Самойлова объясняется просто. Они с женой ехали в Михайловское, но как было не оглядеться в Пскове — и заглянули ко мне в гости. Мы много ходили по городу. Всегда это в радость. Самого-то вымани-ка. А как приедут гости, видишь, как прекрасен город, как много в нем переменилось. И сам загораешься и радуешься больше своих спутников.

Потом сидели за рюмочкой (уже «положено было» только сто грамм). Давид Самойлович читал много своего давнего, нового. Шутил. Глаза за линзами становились огромными, почти искусственными. Один совсем затягивался бельмом. Я убеждал подумать об операции, он отшучивался:

— Увижу наполовину меньше мерзости. Да уж и недолго смотреть. Меня и Володя Соколов все убеждал. Я тогда написал ему: «Напрасно, милый мой Володя, /Надеяться на что-то вроде /Бессмертья. Ты — матерьялист. /И даже я. И все нам ясно. /И, видимо, живем напрасно. /И, кажется, уйдем в навоз. /Мы станем удобреньем роз». Это я его утешал, что — роз, а сам-то думаю, пониже.

Вообще был как всегда обманчиво легок. И как-

то поэтически бездомен. Это было видно тогда в Москве. Он и когда уже ребенок родился, мог перевезти свое имущество в багажнике легковой машины за один рейс. Уважение к бедности он хранил всегда и чтил ее, как испытателя человеков:

— Когда мне выпала, наконец, возможность купить дом в Опалихе и перестать скитаться, я попросил в долг у кого мог в надежде, что скоро выпущу сборник (тогда выходило мое «Равноденствие») и покрою долги. Евтушенко дал тысячу. А когда я подписал бумагу с требованием об освобождении Галанскова и книгу мою рассыпали и заперли все двери, Евтушенко первым попросил свою тысячу назад. Хотя на кой она ему была? Впрочем, он из людей, про которых говорят, что у них каждая тысяча на счету.

Господи, о каких пустяках мы говорили! Все ведь думаешь, что навидишься и наговоришься. Но потом были только письма о переломе времен. Он встретил этот перелом с волнением и надеждой.

«...Время так бежит, что пошлешь письмо в одну эпоху, а ответ получишь в другую. Как будто времена действительно решили поворачиваться. Да очень трудно повернуть такую махину, как Россия. Да вроде никто и плечо не хочет подставить, никто не запел «Эй, ухнем!», никто не покрякивает. Одна только московская интеллигенция митингует, иногда с трибуны, иногда по домам, и многие надеются.

Я бы не только надеялся, но и подмогнуть готов. Но чем? Никто в помощники не зовет». Это 1987 год.

И в 1988-м — надежда, хоть и поослабшая.

«Демократизация нужна России, как будущему об-

ществу. Но процесс будет долгий и мучительный (если дано нам на это время). У нас человек другого мнения — враг. И привыкли врага уничтожать. Кроме того, все это происходит не только внутри нации, но и внутри империи, от которой не отмахнешься. Пушкин говорил, что в России единственный европеец — власть. Хорошо если власть удержится и проявит себя европейцем».

А в 1989 уже от общего к родному — к литературе, а там всегда все виднее:

«...Литературе, кажется, сказать нечего. Наверное, она будет какое-то время совершать черную работу критики, «вскрытия язв». Я за это, за то, чтобы говорить можно было обо всем. Но на вскрытии литература далеко не уедет. Нужна некая высшая цель, сверхзадача, которая конкретно, в образах, была бы сформулирована и именно для нашего времени и уровня сознания. А мы повторяем зады. Может, и из этого что-то выварится. Хотя бы необратимая потребность свободы. Но до понимания добра мы не дозрели. И играем с ним, как в жмурки, с растопыренными руками и завязанными глазами».

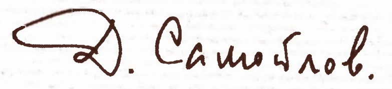
А от той, псковской, встречи осталась только его книжка «Залив», которую он надписал экспромтом: «Валентину Курбатову: /В этом городе Пскове /Воздаю от початого /Полуштофа любови», да в альбоме он улыбнулся нарочито школьным сбоем события.

Историческое

Горя высоким чувством,
Сей князь ударом дерзким

Историческое

Горя высоким чувством,
Сей князь ударом дерзким
Разбил врага на Чудском
За что был назван Невским.



В первый день пребывания
во Пскове, 22 сентября 1985 г.

Разбил врага на Чудском,
За что был назван Невским.

Д. Самойлов
В первый день пребывания во Пскове,
22 сентября 1985

Я бы, наверно, не стал и включать это «Историческое», когда бы не следующая страница, когда бы не стихотворение Распутина. Это была не игра, не шалость рифмы. Тут была разность взглядов на историю даже в пустяке. Тут была разность общего направления мыслей во взгляде на Отечество, на интонацию дня. И в строке Валентина «Не поверим мы снова и снова в лень и холод заученных книжек» слышалось прямое сопротивление игре и привычке самойловского миропонимания.

Географическое

Далеко от Иркутска до Пскова
И от Пскова к Иркутску не ближе.
Но приехал ты — каждое слово
Говорит нам, что все-таки выживем.

Не поверим мы снова и снова
В лень и холод заученных книжек;
Далеко от Иркутска до Пскова
И от Пскова к Иркутску не ближе.

В. Распутин.
Ноябрь 1985, Иркутск

Географическое

Далеко от Иркутска до Пскова
И от Пскова к Иркутску не ближе,
Но приехал ты - каждое слово
говорит нам, что всё-таки
выживем.
Не поверим мы снова и снова
В лень и холод заученных книжек.
Далеко от Иркутска до Пскова
И от Пскова к Иркутску не ближе.

В. Распутин

ноябрь 1985, Иркутск

P. S.
Стихом презренным говоря,
Я рифму пропущал, право, зря.

В. Р.

P.S.
Стихом презренным говоря,
Я рифму тронул, право, зря.
В. Р.

И Бог знает почему вдруг подумалось еще, что рифма-то тут у Распутина и не от одного Самойлова, а от незримого Пушкина, которого каждый раз тайным образом возит с собой псковский человек (или это сам Пушкин на запятках норовит увязаться из деревни свет поглядеть?). Ведь у нас обычно чуть не с порога спрашивают: ну как там, в Михайловском? И ты уж обязан быть готов к ответу и нести в себе хоть малый оттенок свободы. А мне эта запись особенно дорога, потому что, в сущности, тогда началось наше настоящее знакомство. Распутин попросил меня написать предисловие к двухтомному Вампилову, который предполагалось издать в Восточно-Сибирском издательстве. Это была честь, и это было счастье. И я полетел в Иркутск.

Слух мой был напряжен, глаз хватался за все. Кто знает Валентина Григорьевича — знает, что с ним много не наговоришь. Уже чего-чего, а молчать он умеет каменно — разобьешься. И я подлинно вылавливал по слову, и теперь рад бедному дневнику тех дней.

21 ноября 1985

А в Иркутске мороз! Солнце. На горизонте гряда розовых кучевых облаков... Не над Байкалом ли? Просторный и какой-то домашний аэродром прямо в городе. Валентин Григорьевич ждет, хотя догадыва-

юсь, что ему приходилось приезжать не один раз — рейс откладывали, и я насиделся в Новосибирске. Мы катим в гостиницу троллейбусом прямо из аэропорта. Надо бы позавтракать. Бессильно топчемся по этажам, ища ресторан (закрыт!), кафе (закрыто!), буфет (ушла на базу!). Сегодня у его сына день рождения — 24 года и хоронят его двоюродную сестру. Но он не уходит.

Я хвалю Ангару.

— Это не Ангара. Это стоки водохранилищ между ГЭС, хотя и в русле Ангары. Тут-то ее еще, правда, можно узнать по очерку того берега, а уж выше и ниже — нет. Вся на энергию изведена. Пашет. Вот почему и не мерзнет. Вот почему и туман, и на всю зиму куржак на деревьях.

Я хвалю Иркутск.

— С ним плохо. Где-то на евреев валят, а у нас они еще поддерживают, а валят свои. И не какие-то развалюхи сносят, которых полно в центре, а то, что бы надо поберечь для памяти. Своя, русская, никак не объяснимая злоба на старину. (Я предлагаю объяснение, что злоба эта от мелкого партийного чиновничества, которое есть не класс, а *нация* в народе. И мелкая эта, но везде при деле обретающаяся нация точно чувствует в старине и устоях врага, подкоп, угрозу — и уничтожает «соперницу».)

— Может, и так, да от объяснения не легче.

Говорит глуховато, как будто сутулящимся голосом. И все старается пройти незамеченным и тоже как будто все время сутулясь.

После обеда встречаемся снова и уже в сумерках заходим в Иркутское издательство. Валентин вошел,

выключил лишний свет и на недоуменные взгляды сказал: «Экономить надо! Может, поменьше будут строить Иркутских ГЭС». Вроде и шутя сказал, но твердо и с надеждой. Редактор будущего издания Вампилова, к которому мне предстоит писать предисловие, Лина Иоффе достает папку с фотографиями, и все в комнате начинают вспоминать всё и обо всем и сразу делаются родными.

Валентин вспоминает, что познакомился с Саней в драке по пьяному делу в студентах. Больше, говорит, в общем, разнимал, но и сам совал, когда больно задевали.

— Вышло как-то глупо, как часто бывает при выпивке. Утром говорю товарищу своему: пошли, говорю, разберемся с мужиком: что это мы на него. Пришли в университет, а он как раз у расписания стоит. (*Лина*: Менее всего могу представить Саню у расписания. *Валентин*: Ну, это еще первый курс, еще интересно). Я толкаю товарища: иди, говорю, вон он. А он: а что я, ты тоже хороший был, ты и иди. Я подошел, и мы объяснились.

Директор издательства тоже заглядывает в фотографии.

— А это мы в футбол играем. Я тогда не доиграл. Мне засветили мячом в глаз и повредили сосуд. Но мы вроде тогда продули. Играли с радио и телевидением. Да и попробуй тут не проиграй. Вон поглядите на них!

А на фотографии Юрий Скоп и Александр стоят и хохочут, глядя друг на друга и, может, даже в это мгновение анекдоты рассказывают. А кругом игра идет...

— А помните, в колхозе на втором или третьем курсе (и колхоз-то назывался — заслушаешься: «Идеал») мы создали ансамбль, и Саня очень смешно пел под гитару (а он хорошо играл) вместе с ребятами популярную тогда песню: «хорошо в степи скакать, свежим воздухом дышать...» и в деревне нас звали «стилягами»? (А «стиляги» все в сатиновых шароварах. Все мы тогда вышли из сатиновых шаровар, как из гоголевской «Шинели»).

— А эти силуэты «декабристов» были нарисованы на печке. Один у нас хорошо рисовал. Подводил к печке, подносил свечку и обводил силуэт. Вот это Саня впереди, как Пестель. А это из «живых картин» — «Охотники на привале», «Три богатыря» (тоже выбор понятный — они тогда по всем чайным висели). Саня вон слева сидит, как Алеша Попович, и кобыла у него белая. Только он забыл, что на картине-то там Добрыня сидел, и держит вилы, как Алеша лук держал.

Валентин: А вот это бабушка Санина Александра Африкановна. Он по бабушкиной линии из Копыловых, из рода священников. Она епархиалка была. Какое спокойное, великое русское лицо. Наверно, Саня, доживи он, был бы таким же. Отца (он бурят, учитель литературы, и назвал Саню в честь Пушкина. Тогда, в 37-м, было его столетие и о Пушкине много говорили) взяли в том же 37-м, и его фотографии нет. А мама есть. Вот она — Анастасия Прокопьевна, она тоже похожа на бабушку.

Возвращались мы поздно, и было как-то счастливо и хорошо на душе.

— А когда ты звонил перед приездом и не заста-

вал меня, я на Байкале был. Жил один в «Интуристе», один в огромной гостинице, и у меня было пять десятков обслуживающего персонала. Утром в ресторане спрашивали: не поджарить ли мне картошечки. Не хватало только купцов с сахарными головами в передней, чтобы я, их единственный кормилец, не погубил их учреждение и не дал им закрыться.

22 ноября 1985

Да уж, Союз-то иркутский не чета нашему — паркеты, потолки, секретарши, выставки — столица! Побегал немного на город поглядел. Не наглядеться — до чего хорош! На базаре орехи, черемша, ирга, коробы под орех и ягоду. Сибирь! Отработавшие фотографы грузят чучело медведя на крышу «жигулей», и медведь катит потом по улицам вверх лапами на радость детям.

Валентин покупает мне книгу прозы фронтовика Дмитрия Сергеева. И оттирает от книги Суворова: «Нечего, нечего деньги тратить. Позвоню — сам принесет. Он стилист хороший, только как будто не знает, куда этот стиль девать».

Вечером перебираю навезенные им со всех краев книги Розанова и Леонтьева, Набокова и Данилевского (наши издания этих дорогих имен впереди), набираю сколько могу унести и до глубокой ночи читаю.

23 ноября 1985

С утра бегу в Знаменский монастырь. Мороз за 25. Ноги каменеют, хотя самому от бега жарко — бе-

гу от самого Богоявления до Ушаковки. Ангара блестит, кружева куржака на деревьях и резьбы на наличниках, рыбаки, маячащие в тумане под мостом имени товарища Яснова — давнего народного депутата от Иркутска, который, как рассказывал Валентин, по дореволюционной памяти все был уверен, что мост в Иркутске понтонный, о чем он и попечалился на сессии Верховного Совета. Никто не решился поправить почтенного члена ЦК, чтобы не уличить его в склерозе. Легче было построить второй мост.

Возвращаюсь уже совсем поздно. Крестовоздвиженский храм высоко темнеет на холме, а у гостиницы «Ангара» — неожиданно протыкает небо костел. Холодно сияет месяц в нимбе гигантского гало. К морозу. Хотя уж вроде куда больше. Спрашиваю у Валентина: откуда костел?

— Да ведь к нам не только колокола ссылали (первый сибирский ссыльный — из Углича: колокол, сзывавший народ после убийства Царевича для убийства его убийц, так что следствие потом и концов не сыскало, — сослан в Тобольск. — *В. К.*), но и поляков мицкевичева набора. Поляков тут толклось много. У меня тоже течет польская кровь от прадеда, а у жены — так и просто от деда.

— Люблю читать словари на ночь: вот этот — церковнославянский, и вот этот — воровской. Все в дело идет.

24 ноября 1985

С утра ходил в Крестовоздвиженскую церковь — тоже бедную (беднее Знаменья). Валентин говорит:

«Мы не замечаем этой бедности». И видно, что точно — не замечает: глаз сложился на восемнадцатом веке, на провинции этого века. И все нормально. Это мне после наших «стариков» не по себе.

Ребятишки катаются от ограды храма на картонках, а рядом улица Грязнова в деревенских лестницах, в резьбе ворот по всей улице. Голуби зябнут и лепятся к карнизам церковных апсид, к теплу. Медведь опять стоит у торгового центра, и все весело снимаются с ним, пряча дощечку, к которой он прикреплен железным стержнем.

— К вере я тянусь, но что-то все время не пускает. Раньше у нас был владыка Вениамин. Мы с Саней и со Славкой Шугаевым к нему ходили. Он нас в веру не обращал, но библиотека у него была хорошая, и я тогда уже кое-что понимал, потом и сам стал у ленинградских букинистов Бердяева, Шестова, Федотова, Леонтьева, Соловьева покупать. Владыка Вениамин уехал, приехал владыка Серапион (бабки его Скорпион звали), мы попробовали и с ним завести отношения — не получилось.

— ...В детстве крещен я не был. Родители в безбожные тридцатые пристроились в районном поселке Усть-Уде, там я и родился, но перед войной вернулись в родную Аталанку. Войну отец хорошо прошел, вернулся в орденах. Стал заведовать почтой, а через полтора года у него, нетрезвого, срезали на пароходе сумку с деньгами и загремел он на Колыму. Вышел по амнистии в 1954-м, я как раз в том году поступал в Иркутский университет.

— А крестился недавно в Ельце, когда ездили на

Куликово поле. Крестили у батюшки дома, и как-то хорошо все сложилось — потом и у Тихона Задонского побывали, и в Оптиной.

— И Саня был далек, как, в общем, мы все тогда, бабушка его не принуждала. Книги были религией-то. Ремарка все читали, Хемингуэя. А Саня открыл Борхерта и мне принес. Признаться, одно время мы ему оба подражали. Но недолго. В последнее время он много Островского читал. Но главным, конечно, был Чехов. Мы часто работали вместе в гостинице в Ангарске. Если что-то у Сани заканчивалось, он читал вслух. Там он написал «Утиную охоту», в которой в финале Зилов все-таки кончал самоубийством. Я как раз говорил, что, может, этого не надо. Да он и сам сомневался. А что это была очень значительная вещь — только потом стало сознаваться. Тогда было только видно, что хорошо, да мы и не больно хвалили друг друга — как-то было не принято. Когда он писал «Утиную охоту», я — «Последний срок». Только когда уж в книжке вышло, он, так сказать, очень даже одобрил.

Съездили на могилу Вампилова.

— Раньше Саня открыто лежал, рядом картофельное поле. Это сейчас уже вон сколько вокруг собралось. Тогда тут как раз цыганского барона убили — вон могила, — тоже молодой, 33 года. Целый месяц тут цыгане дежурство несли, оплакивали.

Спросил Валентина об «Уроках французского» (свернули к рассказу с воспоминаний детства, с голода, с майских жуков: «Я летом на Байкале однаж-

ды услышал и сразу узнал, что майский, и обрадовался — их теперь мало»).

— Там, конечно, не все правда. Да, была такая учительница французского, да, звали ее Лидия Михайловна. Но на деньги мы с ней не играли. Запомнилась добротой и тем, что преподавала французский язык. Потом уехала. Удивительно, что мой рассказ ей попал на глаза в парижском магазине. Она там по культурному обмену оказалась, преподавала теперь уже русский язык французским студентам. С тех пор мы с нею переписываемся.

Спрашиваю: хранит ли письма? Говорит — нет: «Я вообще мало храню писем».

— Что до «Живи и помни», несмотря на то, что Астафьев насторожился, как бы мне не влетело, все обошлось. А вот «Матеру» останавливали. Я был, кажется, в Германии. Уезжал — хорошо. И хоть Викулов побаивался, но в журнале все стояло твердо. А вернулся: нет, говорят, пришлось снять. Тут Бондареву спасибо. Он немедленно собрал рабочий Секретариат, обязал всех в два дня прочитать, и тут же обсудили. Дементьев что-то лепетал с замечаниями. Бондарев (я и не думал, что он может так резко) оборвал его. Дементьев обиделся: «Ну тогда я вообще не буду говорить». — «И не надо!»

В общем, он потом еще два раза был в ЦК и пробил! Я все толкаю его к мысли о противоречии художества и публицистики. Он упорно увертывается.

— Вся русская литература разве не сплав публицистики и беллетристики? Что такое — Толстой, Достоевский? Как разорвешь «Сон смешного чело-

века» и «Кроткую», как их вынешь из «Дневников», где они прячутся посреди польских событий и уголовной хроники (однако в Астафьеве не принимает публицистических срывов в перебор. — *В. К.*).

26 ноября 1985

С утра жду звонка Валентина. Ветер несет снег мимо окна горизонтально. Бессильная ворона, помаявшись с ветром, сваливается в сторону и, зло каркая, летит куда ей не надо. Но внизу даже по деревьям ветер еще не очень заметен. В 12 звонит — «Выезжаем!» Поехали на Байкал. Дорога сразу за Иркутском идет увалами с подъема в уклон — вся в холмах, березах, осинах, соснах и кедрах. Осенью, наверно, горит и сияет, и романтический путник едет на одном бесконечном «ах!» Ангара подступает справа и мелькает меж деревьев вольно и, сжатая скалами, представляется озерами. Всю дорогу молчим, потом Валентин заговаривает о Суворове, чью книгу не дал мне купить

— Мы жили с ним недолго под одной крышей у одной бабки, которая разводила белых мышей для противочумного института. Наверно, ей платили хорошо, потому что мышей была прорва. Денег у нас не было, и иногда мы пускались на хитрость. Женька отворял клетки, и мыши разбегались по дому. Старуха (а она была толста и малоподвижна) просила помочь. Женька ссылался на брезгливость. Нам обещали напечь оладушек, и мы загоняли мышей до следующего приступа голода. А еще пристрастились мы с ним играть в подкидного дурака. Уже своими домами жили. Женька все время проигрывал. И

очень злился. Он приходил с утра, часов в 10: «Давай играть! Пару партий, не больше!» Но я-то знал, что это до вечера, и не открывал ему. Он стучит за дверью: «Ты дома! Лучше открой!»

Всю дорогу поземка летела над шоссе, а уж как подъехали к Байкалу, совсем завилась стеной. На минуту вышли в самом истоке Ангары. Ветер чуть не выдернул у меня дверцу.

— Это ангарский коридор до самого Братска, как аэродинамическая труба. Саня с Глебом Пакуловым 17 августа собрались на рыбалку с ночевкой. Поплыли на «казанке», а в море волна. Решили возвращаться — налетели на топляк. Лодка стала на попа, и мотор потянул ее вниз. Если бы они держались вдвоем, они бы оба и утонули. Саня кричит: «Плывем!» и поплыл, он хорошо плавал, а Глеб остался и кричал. Вода здесь всегда холодная. И потом Саня же был одет на ночь — куртка, теплые ботинки, ничего не снять, — вот и не дотянул. Его привезли вот в эту листвянскую больницу. Ночью приехали я, Марк Сергеев, Шугаев.

Доехали до конца Листвянки, где дорога оборвалась. Какой-то художник внизу писал этюд, часто грея руки. В гостинице, в холле, сидели бодрые, как всегда скучные немцы. За обедом в пустом зале к Валентину подлетела бойкая баба.

— Не узнали, наверно? Конечно. Это раньше у меня были вот такие белые волосы по плечам и вот такие глаза, и я была худенькая и была красавицей. И Саня Вампилов заглядывался на меня. Мы даже вместе были в Москве с Геной Машкиным, и там Женя Евтушенко обнимал меня и просил Гену схо-

дить в машину за своими стихами, но Гена послал его вместе с его стихами... Валя, Валентин Григорьевич, отработайте у нас в филармонии несколько концертов на декабристских вечерах. Всего три дня. Будет Валера Золотухин, Вася Лановой. Ну хоть один концерт в политехе. Бэлочка Ахмадулина сначала тоже сопротивлялась, а потом говорила: «Валя! (Вы хоть не забыли, что меня Валя зовут?) Валя, — говорит, — теперь только позовите в любой час!» А? Ну один концертик. Я понимаю, я нахальная баба. Такая работа. Конечно, будь у меня, как тогда, белые волосы и глаза, Вы бы, конечно... Ну ладно... Нет так нет. На всякий случай — я живу тут в 210 номере.

После обеда я ушел в Листвянку. Добрался до церкви — было светло, как-то очень покойно, совсем по-деревенски. Два старых образа, первые в здешних храмах, сразу казались завозными. Смытый при реставрации святитель Софроний, его четки и туфля с парчовой отделкой и крестиком на носке — кажется, все, что осталось от иркутских святителей — остальное что сгорело, что разграбили. Староста все слушала мои рассказы о Пскове.

— Вот спаси вас Бог, вот вы правильно понимаете, вот жалко, что вы уезжаете. Завтра бы попели с нами. Народу нету. Мы сами и прихожане, и певчие. Село-то большое, а никто не ходит, разве в большой праздник побольше придет.

— Работа моя нейдет. Как из-под палки все делаю. Не потому, что не хочется, а узда режет. О Кяхте как раз пишу. Город купцы оставили как кар-

тинку, подарок, а не город. Живи и спасибо говори, а его изгадили, изломали, захламили. А серия-то «Отечество». Там панегирики надо петь. А какие панегирики, когда больно глядеть? Хочу попробовать написать, как изживается лучшее, как обрываются нити. А вот потом будет работа по сердцу. Буду писать о Русском Устье на Индигирке, где живут те русские, кто еще говорит языком XVII века. И по-русски говорят, а понять трудно. Интонации другие, а не только словарь, музыка другая. Былины хранят, каких нигде и в записи нет. Вот там материал! Там вот и видно, откуда мы пришли. Вот почему я нетерпелив там, где вы снисходительны. Я вообще терплю плохо — нет во мне этой христианской добродетели. И самое замечательное, что в эту нежилую землю, где и лета-то полтора месяца, все ребята возвращаются, раньше их и в армию не брали, а теперь все как у людей, но, все поглядев, — едут домой.

— Со стариком Сашей Андриевичем (был такой популярный эмигрантский ресторанный певец, чью пластинку мне незадолго перед тем привезли. — *В. К.*) мы в Париже обедали. Он поет там в «Распутине». Кабак дорогой, на одном входе разоришься. Но мой тамошний знакомый, корреспондент ТАСС, позвонил хозяйке: «Распутин, — говорит, — приехал». — «Ах, хозяин, — улыбается умная дама, — ну ждем!» Нас встретили казачьим хором — пообносившимся и состарившимся, но довольно чистым. И вот тогда и пришел Саша. Он уезжал в 20-е годы через Иркутск, надолго задержался тут, много расспрашивал и много неведомого мне о той поре помнил. Так

что непонятно, кто кому был интереснее. Простились грустно, и я потом слышал его только в записи, как Вы.

27 ноября 1985

Холодно. Солнце тусклое, волна слепая, ветер так и жжет. Мальчишка у школы лупит палкой по Бог знает как попавшему в металлолом нутру рояля, струны бренчат тускло и глухо. Как и над Ангарой, над озером тянула поземка пара.

— Замерзает только к середине января. Лед чистый и кажется совсем тонкий, прозрачный. И иногда под ногами гулко ахает. Крупин приезжал прошлый год. Сначала от треска шарахался, а потом привык. Понравилось Он был тут в марте и все манил с утра — пойдем на лед, пойдем на лед.

Ветер вдруг прогонит острую черную тень, и вода покажется враждебно живой, не подпускающей, какой она бывает иногда в море. Да его тут так и зовут — «дальше в море вода холодная». Только нырки мелькают в злом холоде воды и истоке Ангары, а лодку и представить боязно.

Вечером я увидел на его рабочем столе листок под лампой — видно, только что работал. На листке были чуть заметны нитяные карандашные линии, словно листок был расчерчен от руки. Я пригляделся: нити — были строчки, но прочитать их было нельзя.

— Что это?

— Где?

— Ну вот это.

— Работаю я, а что?

— Да как же ты это видишь? Ведь это, я думаю, и в троекратную лупу не разглядишь.

— Не знаю. Я всегда так пишу. Острыми карандашами — шариковые ручки слишком толстые. Сам, впрочем, и наказан. Перепечатывать это могу только я — ни одна машинистка не разглядит. Из рукописной страницы выходит больше десяти машинописных. У меня раньше хорошие глаза были. Ребят развлекал. Читал, что на той стороне Ангары написано. И не то, что «станция Иркутск», а всякие лавочные мелочи, часы работы. Сначала ребята смеялись, потом ездили туда трамваем, убедились и перестали. (Ну вот, значит, это у лесковского Левши не шутка, что «глаз пристрелямши». Так и блоху немудрено подковать. — *В. К.*)

На другой день я улетал. Простились скоро и скрытно, и я не сказал, как мне было нужно побыть с ним на его земле...

— На съезде, наверно, не буду выступать. Чего уж выступать, воду-то в ступе толочь. Меня вот второй раз в областной совет выбирают. Я слушаю, как там мужики режут правду и все беды наружу выворачивают и за спины не прячутся, виновников пальцем показывают, а что меняется? Да ничего. И начальство привыкло — пускай пар повыпустят. Все наши упования на разум, на общее прозрение, на то, что мы будем моделью общего объединения, напрасны. Никакого всечеловечества не будет. В поездках это особенно видно — каждый народ (даже безродный американец) носится по земле, ищет корни, собирает предания, выделяясь из других и оп-

ределяясь. Ну а коли так, то весь наш мировой коммунизм — чистая утопия. Все будут жить и умирать в своих верах и границах — разве что пока не родится новая вера или всеобъединяющий Антихрист.

Самолет развернулся, еще раз показав город, Ангару, край Байкала, отнявшего у нас Вампилова, о котором мне предстояло писать. Но я уже чувствовал, что настоящие встречи с Валентином только впереди. И что я еще напишу о нем.



С высоты пикета

После смерти Василия Макаровича Шукшина мы ездили в Сростки на всякому тогдашнему зрителю ведомую по фильму «Печки-лавочки» гору Пикет почти каждый год. Союз писателей собирал пол-России. Как же была прекрасна земля и как прекрасна дорога — от Барнаула к Бийску! Наш «среднерусский» глаз, не привыкший к чернозему (как странно, что и Кубань уже была для нас не совсем Россией — мы как-то привыкли, позабыв бунинский и тургеневский Орел, числить Россией один ее литературный Север), почти обжигался о зияющую его черноту. Пустые небеса были странны. Спасая гречиху и коноплю, завезли на «хлебородный Алтай» в противодействие разорительной птичьей мелочи горноалтайских соколов или беркутов (кто из нас, нынешних, городских сочинителей, да еще критиков, отличит в полете ястреба от скопы?). Они летели бесшумно и мощно долгим барражирующим полетом над пустыми улицами Барнаула, над степью, над скоростными дорогами, приоткрыв клювы от жары, и тишина от этого казалась закладывающей уши (поневоле вспомнишь хичкоковских «Птиц»).

И как мы еще были собранны тогда, как волновались перед каждой встречей, когда тысячи людей, кажется, со всего края, а то и со всей России съезжались что-то услышать от нас, *от нас*, которых еще числили здесь великой русской литературой в ее всесилии и могуществе. Сюда приезжали протестовать против поворота рек, против строительства Катунской ГЭС, против всех неправедных законов. Если Макарыч спросил: что с нами происходит, значит, ответ должен был быть найден именно здесь. И это всегда чувствовалось в выступлениях В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова. И всегда мы уезжали с чувством если не освобождения, то надежды, которая так слышна в скоро двадцать лет назад написанном стихотворении Александра Боброва, рожденном там.

На Пикете

Пусть развеется грусть по дорогам,
Выводящим на волю, на свет,
Что царит над курганом дозорным,
Над горой под названьем Пикет.

Снова дали с нее — неоглядны,
Для бессилия нету причин:
Есть Россия,
Есть поиски правды,
Есть Василий Макарыч Шукшин.

А. Бобров
27 июля 1986, Бийск — Сростки

27.07.86 — Бийск-Сростки

На Пикете

Пусть развеется грусть
по дорогам,
Выводящим на волю,
на свет,
Что царит
над курганом дозорным,
Над горой
под названием Пикет.

Снова дали с нее —
неоглядны,
Для бессилия нету причин:
Есть Россия,
Есть поиски правды,
Есть Василий Макарыч Шукшин.

Приятно в записях Курбатова
не слова квадратного
а — жемчуга окатного
и других даров!

А. Бобров

1986, июля, 27 дня – в праздник Флотского братства – после долгого разговора – в какую сторону двинулись мы с распутья обнадёживающих лет. Самым страшным переболели, верится, что к высокой духовности на которой зиждется жизнь, но пережить нужно будет трудный, сатанинский год – 1989. ДСГ!

Тогдашний секретарь Вологодской писательской организации Владимир Шириков, кажется, думал так же, потому что писал, торопясь за Бобровым, почти о том же.

1986 июля, 27 дня — в праздник флотского братства — после долгого разговора — в какую сторону двинемся мы с распутья обнадеживающих лет. Самым страшным переболели.

Верится, что к высокой духовности, на которой зиждется жизнь.

Но пережить нужно будет трудный сатанинский год — 1989

ДСГ!

Вл. Шириков

Но какая странная, какая пророческая оговорка о еще предстоящем тогда через три года «сатанинском» 1989 годе, когда уже подлинно все было кончено даже с самими Шукшинскими чтениями. Чтения почти умолкли, изошли в случайности на несколько лет и, если удержались и теперь потихоньку, по шажку воскресают, то, кажется, именно благодаря этой стесняющейся еще себя аббревиатуры — ДСГ (стыдно сказать, я спросил у Володи, что это значит. И он, смутившись, что русскому человеку это надо объяснять, «перевел»: «Да спасет нас Господь!»).

Значит, увы, причины для бессилия все-таки были, и им не было числа, что одинаково, опережая время, слышали поэт и прозаик, да нам еще хотелось побыть в благополучном покое и самообмане.



Голгофы и вознесения

С радостью и утешением повернусь теперь к другому автографу Виктора Петровича того же 86-го года. Хотя свет автографа родился из причины куда как болезненной. Мы незадолго перед этим поссорились с Виктором Петровичем из-за его «Печального детектива». Книга показалась мне мрачнее реальности. Тем более я знал рукопись раньше, и мы уже говорили о ней. Виктор Петрович предполагал, что найдет светозарный женский характер и вся тьма уравновесится. Но тут пришла пора горячей перестроечной литературы, на Овсянку налетел редактор «Октября» Ананьев, умевший слышать потребности времени, и выхватил рукопись как есть. Ну я и написал Виктору Петровичу, что жизнь мудрее его книги, что когда прижмет и захочется человеку расчесться с жизнью и он уж и голову сунет в петлю, непременно или ребенок засмеется за стеной, или котенок заденет за штанину, или просто упадет в окно солнечный луч. Господь напомнит о себе, «переспросит», точно ли подошел край, и человек еще может остановиться. А тут ни котенка, ни луча, ни детского смеха. Виктор Петрович сердито замолчал. А тут возьми и подоспей договор на пре-

дисловие к Мельникову-Печерскому, которое мы должны были писать вместе. Ну и Виктор Петрович прислал мне его подписать и угрюмо попросил прислать свою часть текста. Я тоже обиделся и написал ему, что он должен был понять, что при моей любви к нему, мне написать свое письмо было труднее, чем ему его прочитать. Он позвонил: ладно, приезжай, разберемся. Я прилетел.

Виктор Петрович копал картошку. Шапка была сбита набок, клубни гремели о ведро. Страда. Ну, увидел, бросил лопату. Обнялись. Заговорили про дорогу, про что попало. Заговорили громко, засмеялись принужденно, как всегда говорят и смеются на людях поссорившиеся люди, не выдавая ссоры. Через час я уже от такой беседы изнемог. Шепнул Виктору Петровичу, что хорошо бы взять чекушку, пойти на берег Енисея и перестать говорить громко и смеяться картинно. Пошли. Мария Семеновна настороженно проводила нас. Не буду передавать разговор. Он соглашался с моими доводами, но при этом говорил, что и я должен был понять, в каких он тогда был тяжких домашних обстоятельствах, как сошлись все недуги и срывы, что ему уж и не до рукописи было — бери, кто хочешь, надоела она, и что его именно эта моя «глухота» и сбила. Ну, в общем, объяснились и через час возвращались по тесному проулку от реки с песней «Глухо-ой, неведомой тайго-ою...» Марья Семеновна успокоенно улыбнулась и вечером сказала мне, что картошку-то выкопали они с теткой Анной, а эти несколько кустов были оставлены до моего приезда. И нарочный был выслан на дорогу: едет! Ну вот тут фуфайку на

плечи, шапку набок и за лопату! Дескать — пока вы тут, щелкоперы и крытики (он всегда произносил это слово так), катаетесь взад-вперед, русский писатель в земле ковыряется, в поте лица картошшонки себе на пропитание добывает. Этот милый театр был так детски-простосердечен, что можно было только улыбнуться и еще больше полюбить Виктора Петровича. Потом мы неделю работали в Овсянке, заканчивая день утомленно-отрадными вечерними прогулками, и я был счастлив его недолгим покоем, его краткой внутренней тишиной и вместе с ним не мог нарадоваться легкому золоту вечеров, бабьему лету, енисейскому долгому дыханию, от которого мы, страшась за легкие Виктора Петровича, держались подальше, но которое слышали как успокаивающее дыхание. И «детектив» изживался в его и моей душе.

Я думаю, что, в конечном счете, все же главное вот это — Енисей, береза на скале, светлая осень, и когда придет последний час, все это и будет видением, а не злодеи, лжецы, лицемеры и ворье...

И спасибо жизни за жизнь, а памяти за то, что она очищает прошлое от скверны.

В. Астафьев.

Октябрь 1986 (дивная осень!), село Овсянка

Ни он, ни я не знали, что настоящие «лжецы, лицемеры и ворье» еще впереди, как впереди и настоящие его страдания. И настоящее его освобождение. И, заглянув вперед, вдруг найду страницу дневника 1988 года — года тысячелетия Крещения Руси, а в ней среди шума улицы редкую у Виктора Петрови-

Я думаю, что в конечном счете,
все же главное вот это — Енисей,
береза на скале, светлая осень и
когда придет господином нас все это
и будет владением, а не злодеи, мелких
мизерных тварей.
И спасибо жизни за иллюзии, а памяти
за то, что она очищает опоган-
ных оскверненных...

В. Астафьев
10 сентября 1986 г.
(Дивная осень!)
село Овсянка

ча встречу со священником, которая как-то таинственно увязалась для меня с воспоминанием о том приезде. Может быть, просто оттого, что я и приехал-то в Овсянку тогда как раз через два года после «детективной» встречи.

18 июня 1988

Была долгая тяжелая смутная ночь полета через Курган — ровный и скучный даже за несколько минут с самолета. Сразу новости о красноярских демонстрациях — экологической и политической (против делегатов, из которых один Федирко, другой Е. Исаев), транспаранты, один из которых «ГУЛАГу — нет!». Попытка разгона ни к чему не привела. Кагэбэшники с японскими зонтиками, которые им так хотелось бы пустить в ход, как дубинки. Но вот уже не могут. На следующий день генералы КГБ и УВД собирают пресс-конференцию. Показывают снятый материал («все вы тут!») и сулят, что после конференции одни пойдут на общественные работы, а зачинщики, так и того дальше.

Виктор Петрович хворает. Глядит футбол.

Долго хвалит Иона Друцэ, только что выступившего по телевидению, — «Дал он им, засранцам!»

Я гляжу Гоголя — роскошный том, подаренный ему местным библиофилом.

— Бес все-таки. И, видно, человек в нем с бесом боролся и человека одолел. Мы его еще боимся читать. Он нас отменяет, «достижения» наши говенные. Чего стоят одни эти второстепенные персонажи, эти списки фамилий. А в принципе-то ведь тут все верно. Вот бабы вологодские уцепятся — Да чё

тя черти ломают? Ты чё, не помнишь Устинью-то? Ну, которая черемуху-то брала и боялась, что бабы больше возьмут, и в штаны себе лила? Это ведь гоголевское. Или эти меры отсчета — как у Ивана Ивановича, «когда еще Агафия Федосеевна не ездила в Киев...» А у нас за Качей — «как от ларька пойдешь, дак влево или вперед в гору». Ларек этот и сейчас стоит. Не сносят. Почему именно от ларька, когда и школа есть, магазин, и еще много чего. А вот дался ларек!

19 июня 1988

— Я ведь был на встрече с Рейганом в ЦДЛ. Мест дали за столом всего кажется 57-58. Драка, скандал! Все лезут! Я говорю Юре Бондареву: «Ну их всех на... Отдай им мое место. А он: ну уж... Один человек и того отдать?» Пошел. Женька Евтушенко всю жопу провертел, в кадр лез и меня истолкал, слова все ждал, а холуев и без него хватало. Володя Карпов, вроде и не дурак, разведчик каких поискать (кстати, он мне говорил, что его бесит эта фраза — пошел бы, не пошел в разведку с тем-то и тем-то. Да кто тебя, мудака, возьмет? Там ведь иногда и не ум нужен, а нужен дуролом на два метра, которого для того и берут, чтобы он в тенечке сидел и потом тебя — случись чё, — вытащил), так вот Володя вдруг ляпнул, что если бы сейчас были иконописцы, то надо бы слева и справа от Христа Вас, господин Рейган, и товарища Горбачева написать, как миротворцев. А Володька Солоухин мне на ухо шепчет: «Видать, добрый Вова по атеизму своему не знает, что рядом-то с Христом разбойники были распяты. Во дурачина!»

— Горбачеву я на встрече у него на Старой площади сказал, что Сибирь осталось или затопить, или взорвать, чтобы ее по частям не мучить. Сказал, что жрать нечего, особенно в районах и деревнях. Спросил у него: как дальше-то? Есть ли какая надежда? Он сказал, что есть, что в этом году нормальные виды на урожай. Потом я спрашиваю: «А вас не скинут? Тогда, говорю, уж точно придет Пиночет». Фролов все записывал, засмеялся: «Такого, — говорит, — я еще не слыхал». А Горбачев говорит: «Нет, говорит, не скинут. Но для того чтобы быть уверенным, вы и помогите. Вообще помогайте». Сначала-то я, надо сказать, немного волновался. Потом хватил кофе. Такой, брат, кофе, что у меня волосы, даже после Колумбии, задымились. Сливочника сбоку не заметил. А потом уже неудобно было. «Позаботьтесь, — говорю, — о молодой литературе. Ей впереди просвета нет. Был, — говорю, — до встречи с Вами на встрече с Рейганом у нас в ЦДЛ, глядел, как толпится в фойе наш сытый собрат, и вдруг ясно понял, что 85% (а потом Женя Носов меня поправил, что 95) наплевать на русскую литературу и на беду Родины своей. Они молодых передавят. Нужны малые издательства в Вологде, Орле, Новгороде, где можно, чтобы там, поближе к жизни, чё-то делалось, а то, — говорю, — теперь ведь новое-то читать страшно. Вот подъедим за Рыбаковым, Гроссманом, Замятиным — и на жмыхи, на химию!

— Камилл Икрамов замечательно рассказывал, как в лагере любил читать «Стихи о Советском паспорте». Вася Шукшин точно снимал в Нарымлаге такой клуб в березках — умилительно-уголовный.

«Генералы и политруки с бабами сидят, — говорит Икрамов, — надсмотрщики со своими Нюрками. Я, — говорит, — выхожу и с пафосом наяриваю: «Читайте, завидуйте, я — гражданин...» А после меня занавес — ш-ш— у-ух — и за ним в полном составе взятая прямо с концерта Львовская капелла вместе с дирижером, во фраках, в которых их замели, ангельскими голосами как хватят: «От кра-а-ая до кра-ая по го-о-орным вершинам, Где горный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом...» Генералы, плачут, слезы с куриное яйцо. А потом наш пермский поэт Коля Домовитов говорил мне: «Чё, — говорит, — твой Икрамов! Вот я сидел, дак вся страна за Робсона боролась! Подавай Полю свободу и все. И я тогда засандаливал поэму Безыменского. Полностью-то не помню, а последние стихи хорошо помню — очень я их чувствительно читал: «Ты приезжай сюда, товарищ Робсон, и будешь ты свободен, как и я». И сам очень этого Робсона жалел...

Пришел благочинный о. Сергий, привез пять пластинок из серии «1000-летие Крещения» и пригласил на торжество.

22 июня 1988

Поехал я вместо Виктора Петровича на торжество («тебе интересно, а я чё в этом понимаю?») в Дом актера на торжественный акт (1000-летие Крещения). Все корректно, взаимно испуганно. Скучновато. Только один отец Георгий из маленького районного Уяра дерзит аудитории, говоря, что она ищет

добренького Бога и зовет вместо Царствия небесного в Лукоморье, и верно говорит, что Сталин субъективно виноват, но что объективной вины за ним церковь не знает, потому что раз уж вы ищете диктатуры пролетариата, то будьте готовы и к диктатору («и слава Богу, что у вас был марксист с начатками семинарского образования — и по тем временам меньшее из зол. Чего просили, то и получили. И жертв не было, было возмездие за собственное неразумие»).

23 июня 1988

С утра уехал в храм. Служба хорошая, дьяконы сильны и достойны, хор слажен. Отец Сергий замечательно читает канон сибирским святым. Оттуда — к А. Г. Поздееву.

Что за чудо человек! Открыл для себя таинственную силу канона и славит этот канон в каждой работе. Первой воздвиг на мольберт трехметровую «Чашу»:

— Иногда я боюсь ее. Она втягивает меня своим пространством, и я говорю ей: Усни! Усни! Усни! Сначала я не хотел резать угол и строить над крестом восьмигранник, но канон ведь сам диктует. Чувствую — надо. Срезал — и все исполнилось. И теперь мне говорят, что это чаша Будды и что это Троица, и что это космогония и метафизика, и цитируют йогу и Блаватскую, а я ничего этого не читал и все велосипеды изобрел сам. Вот только жалко, что когда что-то понял, то уже и сил нет, и глаукома отнимает зрение. И временами я уже, кажется, готов примирить старость и покой, чувство и

знание, волю и логику в холсте, но пока все-таки больше уничтожаю, чем оставляю.

— Мои Голгофы и Вознесения, к сожалению, не будут нужны ни свету, ни церкви, но я не могу писать других и не могу не писать этих.

Долго толкует ивановское «Явление Христа», утверждая, что в центре картины не Мессия, а странник — автопортрет, — и что излом и неосуществленность оттого, что Иванов дерзнул написать реальный образ Божий, дерзнул соревноваться с Богом в рождении Сына. Смирение было паче гордости и отняло силы. Не зря в центре — автопортрет как центр вращения мира, узел стяжения, как мука разбегающегося мира, который надо собрать вокруг Бога через настойчиво рвущегося себя.

Уходя, долго ставит на дверь печать, хотя уходит на пять минут:

— Не сочтите за безумие — ко мне кто-то ходит. Я замечаю. И Валя моя заметила. А ничего не пропадает, и это, кажется, похоже на форму сумасшествия. И вот я каждый раз меняю печати и сам устаю от этого.

Через три года он возьмется писать меня и я, чтобы не возвращаться к разговору о Поздееве в другом месте, скажу побольше об Андрее Геннадьевиче сейчас. Мы познакомились еще в 1984 году. Я хотел писать о нем для «Литературной России». Поставил диктофон и смотрел, смотрел его работы, слушал комментарии. И не мог наглядеться и наслушаться. Там были удивляющие неисчерпаемостью и неутоляющей новизной цветы. Там были пор-

треты — на реалистический взгляд странные, даже вызывающие, но все с внутренней улыбкой и удивлением перед тайной и разнообразием человеческой природы.

Я почти устал тогда от мгновенной любви к этому человеку, к его внутреннему сиянию, к тому, как много радости может вмещать одна душа. Во мне тоже все горело и искало выхода, я был почти подавлен. Знакомо ли вам это чувство горячей благодарности и счастья, которое не знает выхода? Надо было на улицу, в суету, чтобы расправить стесненное сердце.

Я даже не проверил, что у меня там, на диктофоне. А утром Виктор Петрович, к которому я приехал тогда, выглянул в окно:

— Это, кажется, Андрей там сидит на скамейке. Ты у него забыл что-нибудь?

Я бросился во двор. Андрей Геннадьевич заговорил встревожено:

— Вы вчера записывали. Пожалуйста, сотрите все. Не надо. Мне ничего не надо. Мне хорошо. Я работаю. А это? Зачем это? Пожалуйста, я прошу вас.

Я ничего не мог понять. Мне было неловко, что я заставил его идти через весь город в Академгородок, когда еще не ходили автобусы. И меньше всего хотелось причинять ему какую бы то ни было боль за счастье, которое я узнал вчера. Я немедленно выбросил кассеты. Андрей Геннадьевич успокоился, и они еще немного поговорили с «Витей» (так они звали друг друга: «Андрюша». «Витя» — оба детдомовцы и воспитанники «ремеслухи» — братство, не знающее возраста).

Это уж потом, когда я узнаю биографию Андрея Геннадьевича, увижу его первую «выставку»: виртуозные наколки на руках, на груди («тут я был кадр незаменимый — могу наколку сделать, могу печать, меня ценили»), я многое пойму в его беспокойстве.

А кассет, признаться, жаль. Его речь пересказать нельзя. Там была чудесная в своей единственности интонация — детская и мудрая, доверчивая и закрытая.

— Вы знаете, первый раз я родился в Тибете в 1400 году. Был буддийским монахом, звездочетом, прорицателем. Наверно, эта память и гнала меня, когда я бегал из дому один из четырех детей в семье. Бегал беспричинно и неостановимо, из колонии в колонию. Пока не добежал до красок. Теперь от той мудрости осталось только немного юродства.

Он выбрал это «юродство», как выбирают настоящие юродивые, чтобы ничто не мешало на пути к Истине, чтобы быть свободным даже там, где свободным быть нельзя.

Быта у него не было и, кажется, во все годы наших редких встреч я видел его в одной фланелевой куртке и тренировочных штанах с пузырями на коленях. Всегда стриженый наголо, с огромными глазами за стеклами очков, он жил открытой и непостижимой жизнью. Это юродство защищало его от начальства и от косых взглядов коллег. Впрочем, им не за что было коситься на него. Он никому не переходил дорогу. Работ не продавал (хотя известность и даже слава в последние годы подкрадывалась к нему настойчиво и неотвратимо). Достало бы только денег на холсты и краски. Одно это и мучило. Холсты нужны были большие, и красок надо было много.

Теперь, воспроизводя их в альбомах хотя бы и в полную страницу, мы теряем так много, что он был бы несчастен. Особенно в прекрасном цикле двух- и трехметровых картин «Голгофа», «Моление о чаше», «Разговор об истине» или «безмолвном», страшно сосредоточенном цикле «Жизнь человека».

Поздеев мечтал, чтобы в Красноярске поставили часовню, где бы он выставил свою «молитву», свое невероятное «Евангелие», чтобы человек входил в самую середину его работ, был окружен ими, погружен в них и выходил в последний «холст» — в дверь того же размера, что и картина — в небо и землю, уже преображенный его «омолитвой», и видел их как впервые. Это не было «ересью» или опасной художественной игрой своеволия. Он был справедливо верен, что у каждого человека есть единственные слова для беседы с Богом и своя молитва. Художнику Поздееву хотелось восславить Бога на том языке, который ему был ближе всего.

Эти шестьсот лет с 1400 года научили его, что времени нет и, как кажется, нет и пространства, а есть счастье мгновения, включающего всю полноту мира с его бесконечным вчера и бесконечным завтра. Поэтому он не торопился, хотя работал стремительно.

Два раза он делал мои портреты, и оба раза я терялся от чуда, совершающегося на моих глазах. В первый раз это была «сухая игла». Он посадил меня напротив, воткнул резец в медную доску и без всяких предварительных рисунков, мгновенно вспотев от усилия, пошел вспарывать металл стремительно и сильно, так что стружка казалась раскаленной. Он


А. Поздеев

сдувал ее, чтобы не отвлекать руки, и она с тонким сухим звоном соскальзывала на пол. Минут через пятнадцать все было готово. Оставалось печатать. Я едва успел перевернуть две страницы книги, которую читал (делал вид, что читал, впиваясь в лицо и руки художника и волнуясь от присутствия при тайнодействии).

И какая же в этом портрете была легкость и свобода, будто художник чертил его беззаботным пером по послушной бумаге! Всегда ищущая сравнения мысль и тут торопилась с подсказкой, и я не сопротивлялся, потому что действительно ловил в работе очарование легких росчерков Пикассо, узнавал его погоню за мгновением, когда рисунок укладывался в чирканье спички.

Этот сеанс, правда, был не в первый и не во второй мой приезд. Он приглядывался, слушал мои рассказы про всякую всячину, творившуюся за окнами его мастерской, ненароком спрашивал, какой цвет я предпочитаю в рубашках и небесах, что больше люблю у Астафьева, какую музыку слышу в раковинах...

А в предпоследний мой перед его кончиной приезд был второй портрет. Была зима. В мастерской горел свет, разбавляющий приближающиеся сумерки. Я привез Андрею Геннадьевичу небольшое Евангелие, и он попросил меня почитать.

Холст стоял ко мне лицом. Художник повернулся ко мне спиной и начал...

Мне опять было не до чтения, хотя я старался выполнить его просьбу и скрыть подглядывание.

Зеленые волосы, красное лицо, пылающая охра

фона. Красные волосы, зеленое лицо... Все двигалось и менялось каждую минуту. Только что я стоял с воздетой книгой — торжественный, пасторски черный влажной вороненой чернотой, но вот уже нет ни книги, ни держащей ее руки — только черный ствол, охваченный горячим закатом охры, и рядом на месте стула, только что стоявшего на холсте у меня под рукой, какой-то дивный высокий стебель с нежными роскошными цветами. Цветок рос скоро и одушевленно и чем-то раздражал меня, но раздражение еще и проясниться как следует не успело, как художник уже выдернул его, и опять поднялась рука, открылся и закрылся рот.

Тут потрясало именно чувство непрерывности, зримого диалога, когда он переспрашивал мое лицо и зачеркивал его, звал жест и отказывался от него. Глаза портрета вспыхивали и гасли, веки поднимались и опускались. Самое дивное было то, что в каждое мгновение это был разный, но один и тот же тотчас узнаваемый человек. Это был я, но словно отражаемый неверной водой. Он гнался за мной так пытливо и хищно, что мне стало тяжело.

Наконец, устал и он.

Пока мы пили чай, говорили, отходили от напряжения, он все еще ощупывал мое лицо, и мне хотелось поскорее уйти, чтобы он не высмотрел чего-нибудь, что мы оба уже просто не подняли бы.

Я видел в эти горячие часы главное — как один цвет обнимает другой, как они ласкают друг друга и ссорятся, как является между ними что-то третье, как их дитя, чего порознь эти цвета не содержат. Он проигрывал мелодию всякий раз по-разно-



му, и она торопилась развернуться ему навстречу.

Потом я увижу фильм Милоша Формана «Амадей» и вспомню ту его часть, где Моцарт берет поднесенное ему Сальери посвящение и тотчас с азартом начинает показывать, что из этой мелодии можно сделать. И она, только что такая простая и мило обыкновенная, вдруг расцветает всеми цветами, один праздничнее другого, оставаясь при этом собой. Сальери чернеет от этого безмятежного, бесхитростного, доверчиво-ликующего урока, а Моцарт не видит его злого отчаянья, потому что для него нет чужой музыки. Есть просто Музыка — Господний дар! В тот час Андрей Геннадьевич «играл» мое лицо, и я мучительно жалел, что не могу дать ему большего материала.

Так вот что такое «формализм», в котором его обвиняли! Это содержание, извлекающее любовь не одного ума и руки, но состояния души, кисти и краски, согласия цвета и света. Им должно быть хорошо друг с другом, и тогда огни обнимут модель с особенной полнотой и правдой.

А простая похожесть — что в ней? А ложная значительность поз и жестов, бухгалтерия морщин? — с этим справится фотография или уличный портретист.

...На окончательном портрете, который я увижу в последний приезд, не было ни черного ствола, ни стояния, ни зимы, ни болезненных цветов. Было отчетливое лето, свет дня, нарочитая прочность, с которой я не сидел даже, а срастался со стулом, повторяя или похищая его не достающую мне устойчивость, и жаркая проповедь при ненужном слушателе, когда говорящий слышит один текст и убеждает

одного себя, — негреющий пламень замкнутого существования при нетерпеливой горячности внешней жизни.

Я думаю, что в последние годы Андрей Геннадьевич был счастлив. Мы приходили к нему с Виктором Петровичем, и они обнимались и весело смеялись над старостью, которой оба не знали. И это была не игра, а изумление перед чудом жизни. Мир снова только открывался им в своей вечной молодости. Поздеев не зря часто писал тогда Адама и Еву (и чаще Еву, Еву — жизнь!) — райский сад, в котором наше знание бедно и напрасно, а подлинна одна полнота приятия всего в мире.

Он говорил об этом каждым своим холстом. Как любящий человек, он хотел, чтобы и мы были счастливы. И оставил «путеводитель» в страну любви и творчества.

Теперь на главной улице Красноярска ему стоит памятник — веселый бронзовый человек с этюдником и большим зонтом идет за счастьем...

Вот как далеко мы ушли от Красноярского торжества тысячелетия христианства. Ну что ж, тут будет уместно вспомнить спасительный прием бесхитростной прозы девятнадцатого века — «а в это время...»

В ресторане, где собрались гости «Тысячелетия» на другой день после конференции, все гуляло и чинно двигалось в холле, обносимое коктейлями и фруктами. Какой-то деревенский батюшка жаловался соседу: «Чё это за вино мы пили? Румынское? Я чё-то не разобрал. А то тут недавно мне дали тоже

какое-то — не то венгерское, не то тоже румынское. Я сразу р-раз — и с копыт долой!»

Публика опять пестрая, как на торжественно-испуганном заседании, и хороши только бабушки, которые, слава Богу, хоть поели как следует. А чаще сидело мелкое случайное начальство. Отец Сергий говорил серьезно и значительно — лучше, чем в остальные дни.

— Можно ли бы представить еще два года назад, что мы будем сидеть бок о бок в таком согласии и начнем обед с «Отче наш». Будем надеяться, что церковь, пережившая так много и не только выжившая, но еще настолько здоровая, что к ней идет за помощью государство, будет жить еще более полной и славной жизнью к радости и пользе отечества.

Потом архимандрит Роман из Томска с горечью вспомнит, что это на его памяти иконы свозились к печам, как дрова, и это в нем не заживает и искупается только тем, что церковь с рождения была гонима и в гонении укреплялась, а при свободе слабела. Но что, слава Богу, до свободы еще далеко — «Хотя и хорошо, что при встрече с попом вы уже не плюете через левое плечо во избежание несчастья, приравнивая попа к черной кошке». Даже и уполномоченный сыпал цитатами из покаянного канона и Апокалипсиса, звал к единству и изображал счастье от сознания, что это надолго!

Как я и думал, вчера уярский отец Георгий только наживил несколько мыслей, а сказать-то хотел и то, и другое, и третье: «Больше всего мне хотелось — будь другая аудитория — поговорить о том, что мне кажется особенно символическим. За все XIX столе-

тие было два вершинных человека России — Серафим Саровский и Александр Пушкин, и они не знали друг о друге. Это горький знак, потому что и потом знание высокомерничало перед церковью даже в лучшей мысли Хомякова и Киреевского, Данилевского и Соловьева. Последствия этого расхождения были так страшны, что мы теперь уже не вправе не учесть их и не воссоединить усилия — дается последний шанс». Отец Георгий нервен, беспокоен и опять, как вчера, завел речь о теодицее — о том, почему Бог попускает зло.

— Им не понять, и они в досаде ищут всепрощения. За что? А Он, Бог, — не мир, но меч!

Условились, что завтра мы приедем из Овсянки с Виктором Петровичем и они познакомятся.

24 июня 1988

С утра Виктор Петрович слушает Альбинони.

— Нет еще равного ничего. То прибалты порнографию какую-нибудь сунут, то наши какие-то слюни. Есть еще нечто похожее в «Неоконченной» шубертовой симфонии. Всегда слушаю и думаю: «Как же ты, бедняга, намаялся? Кто же тебя так изранить успел? Там есть даже прямо в зал обращение: Помогите! Хоть не мне, так себе помогите. Но — куда там Человеку? До того ли? Наши вон, дураки, на эту музыку девок под водой показывают, как они ноги высовывают и жопами вертят. Нет, правильно Толстой говорил: не жалко, что люди погибнут, а музыку жалко. Раскопают археологи все и все поймут про наше идиотство и гибель, но сами не восстановят музыку, ничего не поймут.

Тут же рассказывает, как Мравинский репетировал в Токио. Подымет руки, сыграет пару тактов — опустит. Подымет — опустит. Никто ничего не понимает. И он сам говорит — ничего не понимаю. Потом вдруг: «Марк Соломоныч, — показывает на одну из вторых скрипок, — Вы на чем играете?» — «Да понимаете, Евгений Александрович, у вас строго, а я сегодня при сборах не успел забежать в отель, боялся опоздать и вот играю на дежурной скрипке». Репетиция была остановлена, и Марк Соломоныч отряжен в отель. Ох, они его и боялись. И он никогда не ошибался в подборе музыканта — если уж взял, они у него как прикипали, не менял.

Поехали в Академгородок, к Марье Семеновне. Я оставил Виктора Петровича дома, а сам за отцом Георгием. Пока добирались, он опять стращал жестоким Богом, коря славянофилов, что они путали богословие с религиозной мыслью. Затем корил за эту мысль о. Павла Флоренского и радовался, что богословие Сергиевой обители отказало ему (о. Павлу) в наставнической роли — студентов за чтение его работ и сейчас не поощряют. Успел сказать, что увлечен Конфуцием, ждет перевода его трудов и уверен, что это будет полезное чтение, что эти корни надо знать, чтобы развиваться верно. Вообще, похоже, мыслитель он деспотический, и мне придется в переписке с ним, о которой он просит, туго. Приехали, когда Виктор Петрович и Марья Семеновна еще достраивали стол. Зашли пока в кабинет, и отец Георгий, углядев китайское издание «Царь-рыбы», перелистнул несколько страниц, сделал обратный перевод и заметил Виктору Петровичу, что надо жало-

ваться в Комитет охраны авторских прав — руки надо отрывать за такой перевод. Виктор Петрович только покосился с испугом — мало того, что поп (Бог знает, как с ним и разговаривать без привычки), да еще и вон как учен — славянофилы у него, китайский знает. И за весь вечер не дал отцу Георгию раскрыть рта, опасаясь, что беседа забредет в опасные для него пределы, да, наконец, и просто не желая вступать в них, как в чужие и напрасные.

Опять цитировал свое свидание с Горбачевым, свою фразу о Пиночете. Рассказал, как Яковлев после исторической конференции пообещал встречу с Горбачевым и как устроил ее, как сопровождал его к Горбачеву Фролов, бывший редактор журнала «Коммунист», ректор института философии, и как многоречив был сам Горбачев.

— Я спросил, знает ли он, что его главные враги в обкомах и райкомах. Он сказал: знаю. Тогда я сказал, почему же не остановите это движение, это неуемное стремление их к кормушке, в Кремль.

— Может быть, истина в сомнении? Во всем! Во мне все повреждено. Какие деспоты казнены за гробом? Я еще в 60-х в «Где-то гремит война» писал, что хоть мертвого, а кара настигнет. А мне Александр Николаевич Макаров: «Ох, Виктор Петрович, когда бы так! Когда бы так! Я из-за этого однажды даже на большого церковного начальника начал наступать».

— Спаси вас, Господи, за это, — посмеивается отец Георгий (ох, не любит рядовое священство свое начальство. — *В. К.*). На какую часть наступали — на живот, на голову?

— На всего. Как же, говорю, Господь позволил то, что я на Житомирском шоссе видел? Это недопустимо, не укладывается ни в какое воображение. А он мне ответил: «Это вас моя борода в заблуждение ввела. А я с вашего года». И как он мне сказал, что с моего года, так я ему все и простил.

— И Житомирское шоссе?

— Это нельзя простить ни Богу, ни человечеству, ни тому, что за пределами Бога. То, что там творилось, никому никогда не должно быть прощено. И на смертном одре буду говорить и Богу, и вам, и Питириму — не должно! Никакая кара (кстати, почему-то все хорошие люди ей подвергаются — наказать, видимо, плохих-то хотят). Даже Ткаченко, даже Леонтьев — были у нас такие — старики уже, все повидали, а и те головы опустили и говорят: «Неужели и нас вот так же?»

— И все-таки, Виктор Петрович, как Вам ни покажется странно: «Не о хлебе насущном жив человек, — как сказано во Второзаконии,— но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих».

— Советская власть это на деле доказала...

— ...на деле осуществив христианство по самой сути. Как этого не хотят понять? 30-е годы, да и раньше — это же подлинное жертвенное служение русского народа Богу.

— Но уж слишком, уж слишком, отец Георгий.

— Вот Бог это и есть «слишком», за всякими пределами. А мы хотим, чтобы Бог был ручной. Между тем жизнь настолько же драматична, как смерть.

— Но самое страшное мне сказал один генетик. Жизнь вернется через четыреста тысяч лет. Вылезет

та же крыса и сожрет себе подобную. Начнется то же самое. Я говорю: «Да что ты со своей проклятой наукой лезешь? Зачем наука, которая отнимает будущее у детей?»

— Против науки не попрешь.

— Да, если каждый камень, каждая травинка слышит боль, тогда человеку прощенья нет. Мало того, что жрет животных — с этого началось его преступление, так уж и себя самого скоро изведет. Я уверен, что планета эта была предназначена для другого существа. Такая прекрасная планета не должна быть отдана такой твари. Может, Бог прозевал, отвернулся на время, но эту гадость он не должен был пускать на землю. Планета чудная, особенно в России. Никаких природных врагов. Это щас мы развели клещей, партийцев, падл этих, хуже клещей. Маня вон после энцефалита еле выжила. А после этих многие не выжили. А с виду такое мирное животное. И вот сжирает самое красивое, самое теплокровное. Сама-то земля злая не бывает. Почти все зло на ней вызвали мы. Ну опоздали бы лет на двести-триста с прогрессом-то. Крестьяне вон не торопятся. Нет, подавай судорогу, военщину, прогресс. В результате полный развал. И сейчас уже поздно молиться о себе, о душе.

Когда я вышел провожать отца Георгия, он с удивлением спросил: «А зачем вы звали меня, если он одного себя слушает». — «А не надо было, — говорю, — батюшка, китайским стращать. Он и так вашего сословия побаивается, а вы его еще ученостью своей. Вот он и загородился и сам, поди, больше всех и жалеет».

25 июня 1988

Торопимся обратно в Овсянку. Виктор Петрович к футболу, а я, оставшись один, нахожу на полке маленькую многострадальную, забитую цензурой чуть не до смерти книжку А. Ф. Лосева о Владимире Соловьеве и с изумлением вижу, что она надписана Виктору Петровичу 24 мая 1988 года в день славянских первоучителей Мефодия и Кирилла — то есть прямо в день смерти Алексея Федоровича, о которой мы услышали в Новгороде на Празднике Славянской письменности вместе с Виктором Петровичем как раз 24 мая. Праздник тогда потемнел, и многие поехали проститься, а оставшиеся только теснее сблизились вокруг этой вести. И вот эта неожиданная надпись ОТТУДА. Очевидно, Алексей Федорович, зная о Празднике и приезде на него Астафьева, поставил число вперед и передал книгу с оказией.

И вот теперь в надписи запела архангельская труба.



И СЛОВО БЫЛО — БОГ...

Прекрасны были эти первые Праздники Славянской письменности! Как они тогда были деятельны и высоки! Они и сейчас никуда не делись.

Но теперь это больше концерты и пышные представления, обманчивое «Славься! Славься!», «мероприятия», где больше видны начальство и торжество. А те, первые, были так напряженны, что мы и собирались как-то дружинно, словно оглядывая силы, проверяя себя на крепость, на памятливость. Это было собирание растраченного, пересмотр своего исторического достатка: что в дело, что в предание, что в прямой нынешний обиход. Все было: пение, фольклор, выставки, но горело все Словом, нетерпением обдумать, вновь назвать себя. И первыми, конечно, были писатели — святые сооружники Кирилла и Мефодия. Хотелось памятливой дали, исторического простора, словно легкие слежались и никак было не раздышаться в полную волю. И я очень понимал Владимира Личутина, когда он на втором Празднике в Вологде готов был благословить даже и исторический подлог, коли бы это прибавило таких необходимых тогда сил.

Достоевский однажды сказал, де, если бы и не было Бога, то Его надо было бы придумать.

Переиначивая мысль великого писателя, хочется пожелать, если бы даже культурная история славянства начиналась лишь с принятия христианства, то надобно бы сочинить пару тысячелетий, вернее, протянуть вглубь наше прошлое эдак лет на... сколько хватит фантазии.

Для чего? Чтобы чувствовать себя цельнее, на прочных ногах, а не на глиняных. Всякое укорочение похоже на тугой хомут.

А сколько было всяких хомутов! Обрыдло. Хочется почувствовать именины сердца и долгое родство. А если оно почувствуется, то и откроется вдруг за девятым веком далеко в темень нечто блистательное.

А хомут обрывает всяческие желания.

Валентин! Понаписал бред великий, но в полном разуме. Не брани.

Володя Личутин, безграмотный поморец.

г. Вологда. В Праздник славянский А.Б.В.

27 мая 1987

А я с улыбкой вспомнил потом при чтении этой записи вступление О. Шпенглера к своему «Закату Европы»: «Когда Эпаминонд освободил мессенцев и аркадцев и даровал им государственность, они тотчас придумали себе древнейшую историю». Видно, помолодевшая душа во все времена ищет аристократической древности, чтобы стоять среди старых государств с равноправным достоинством.

Прекрасный питерский прозаик Глеб Александрович Горышин — охотник, странник, исходивший

Достоевский
однажды сказал где-то,
если бы и не было
бога, то его надо
было бы придумать.
Перефразируя мысль
великого писателя,
хочется пошутить:
если бы даже культурная история сла-
вянства начиналась
лишь с принятия
христианства, то надо было
бы сочинить пару
тысячелетий, вернее
продвинуть вглубь
нашу прошлую эпоху
лет на... На сколько
хватит фантазии.
Для чего? Чтобы
чувствовать себя
умнее, не прогадать
[illegible], а не быть
[illegible]. Всякая
[illegible] [illegible].

на другой хомут.
А сколько было
всяких хомутов!
Добротно. Хочется
почувствовать име-
ющую сбрую и
даже родство. А
если его почув-
ствуете, то и
отнесете в город
за 9 верст и далее
в училище нечто
блистательное.

А хомут строчке
величие желания.

Велесович. Когда
писал обер вели-
кий, но в полном
рабуже. Не обару.

Вологде Мигунец
безграмотный поморец

г. Вологда. В празд-
днике славянских
А. Б. В.
27.5.87 г.

с ружьем Камчатку, Алтай, родной Север, — Алтай любил более всего. Там они с великим экологом Фатеем Яковлевичем Шипуновым затевали Кедроград на Телецком озере. Там его позвал на коротенькую роль Большого мужика в фильме «Живет такой парень» В. М. Шукшин, и потом они дружили до кончины Василия Макаровича. В семидесятые годы Горышин редактировал журнал «Аврора», и Шукшин всегда тотчас отзывался на просьбу прислать новый рассказ. Редакторство кончилось комически. В 12-м номере Авроры за 1981 год вышел крошечный смешной рассказ Виктора Голявкина «Юбилейная речь». Прошел все цензуры и обкомы и ничего. А тут возьми и исполнись Леониду Ильичу Брежневу 75 лет. И какой-то дотошный молодец из старых кадров, наверно, умевший в тридцатые годы найти в рисунке дерева на школьной тетрадке тень Троцкого или Рыкова, вдруг взял да и сопоставил репутацию Леонида Ильича как великого писателя и его 75-летие с текстом Голявкина, который к тому же «по злодейству» главного редактора и напечатан был на 75-странице. И побледнел — какова дерзость! Помните рассказик-то? «Трудно представить, что этот чудесный писатель жив... Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг! Любой человек, написав столько книг, давно бы лежал в могиле. Но этот — поистине нечеловек! Он живет и не думает умирать, ко всеобщему удивлению. Большинство считает, что он давно умер — так велико восхищение этим талантом. Ведь Бальзак, Достоевский, Толстой давно на том свете, как и другие великие классики. Его место там, рядом с ними. Он

заслужил эту честь!» Ну, конечно, Ленинградский обком такого понимания голявкинского текста не перенес. Глеба Александровича с шумом и гневом сняли. А он и рад — так хотелось побольше писать самому. Вот на Алтае мы первый раз и встретились. А уж потом в Вологде. Человек дивного чувства юмора, стеснявшийся всякого пафоса, он и тут пошучивал, но внутренний свет Славянского Праздника слышал с той же глубиной, что и Личутин.

Когда я стоял по колено в холодной воде Телецкого озера, удерживая канистру с водкой в стоячем положении, дабы не пролилась, с мыслью выпить холодненького, я не мог вообразить, что через год в Вологде нам с Валентином Курбатовым доведется ждать чего-нибудь тепленького, с той же мыслью — внутренно согреться...

Наряду с этим происходил Праздник Славянской письменности. Хотелось нравственно обняться...

Дай Бог, чтоб это повторялось. В той же последовательности. И хорошо бы дождаться!

Г. Горышин

27 мая 1987

А романтический поэт Геннадий Панов из Барнаула, тогда еще казавшийся молодым, да и бывший молодым (не зря он был в свой час Лауреатом премии Комсомола Алтая — этот романтизм не знает возраста), кажется, только глядел кругом жадно, ненасытно, «переводил» «Слово о полку» и горел им («Соколы в небесные объятья /высоко взлетают /м о л о д е т ь!.. /Не пристало по старинке, братья,

Когда я стоял по колено
в холодной воде Онежского озера,
удерживая канистру с водкой
в стоячем положении, дабы не
промокла, с мыслью выпить
холодненького, я не мог вообразить,
что через год, в латышскую стужу,
в Вологде, нам с Валентином
Курбатовым доведётся искать чего-
нибудь тёпленького, с той же
мыслью — внутренне согреться...
Наряду с этим происходил праздник
славянской письменности. Хотелось
нравственно общаться...

Дай бог, чтоб это повторялось
в той же последовательности.
И хорошо бы дождаться!

Г. Горбовский

27.V.87

/о походе Игоревом петь»). Горел самим воздухом русского Севера, не ведавшего ни татарщины, ни крепостного права и как-то умудрявшегося явственно содержать эту волю в своей вологодской стати. Он уже предчувствовал за горением свой скорый уход, и это сейчас заставляет особенно сжиматься мое сердце при чтении его громкой записи, которую не остужает, а только возвышает уход автора.

После открытия памятника К. Н. Батюшкову и поездки в Ферапонтово и Кириллов на земле Вологодской, исконно нашей, русской.

Сонет 13 из венка «Звездный час»

Миг рожденья. Молодость ума.
Порубежье удали и чести.
Вороные не стоят на месте,
за холмом — история сама.

Вещий камень. Карк зловещей птицы.
От истока летописных лет
горсть земли за пазухой хранится —
наш исконно русский амулет.

Светорусье — это праздник света,
слово князя, подвиг Пересвета,
мудрая стратегия ума,
ратная стократная отвага
от Кремля седого до рейхстага
звездный час. Горение и — тьма!

28 мая 1987, Вологда

28.05.87 г. г. Вологда

После открытия памятника
К. Н. Батюшкову
и поездки в Ферапонтово и Кириллов,
на земле вологодской, исконно нашей, русской,

Сонет (13) из венка
«Звёздный час»

Мир рождения. Молодость ума.
Порубежье удали и чести.
Воронеж не стоит на месте.
За холмом – история сама.

Вещий камень. Карк зловещей птицы.
От истока летописных лет
горсть земли за пазухой хранится –
нам исконно русский амулет.

Светорусье – это праздник света,
слово князя, подвиг Пересвета,
мудрая стратегия ума,

ратная стократная отвага
от кремлёвских стен до рейхстага.
Звёздный час. Горение и – тьма!

Хорошо, что во дни славянской письменности
мы ещё отчётливей осознали
Отечество и наш неоплатный долг
перед её прошлым, настоящим и будущим.

Геннадий [illegible]

Хорошо, что во Дни Славянской письменности мы еще ответственней осознаем Отечество и наш неоплатный долг перед его прошлым, настоящим и будущим.

Геннадий Панов

Глубокий знаток русской прозы и славянской мысли минувшего века Иван Рогощенков возглавлял тогда критику журнала «Север». И что это был за журнал! И что за критика в нем! Иван был «в первом воплощении» геолог. И дотошность, «докапывание» этой профессии сослужили ему отличную службу. Он и в критике был геолог, просеивающий тонны породы для крупицы настоящего металла. Мы были немного ревнивы друг к другу — или я это только о себе говорю? — как все люди одной профессии. Тем более мы оба писали о Михал Михалыче Пришвине. Тогда готовилась в «Современнике» его книга «Память и надежды», и сами эпиграфы к ней обнаруживали исповедный принцип критики Ивана. Один был из Пушкина: «Нет убедительности в поношении и нет истины, где нет любви», и второй из любимых Иваном славянофилов, из первого из них — Аксакова: «Всякое творчество требует цельности духа и жизни». И сам был прекрасным примером этой цельности.

Он надеялся тогда на преображение реальности (и он ли один?). И резко и уязвленно писал: «Что в опыте подходит сейчас, что не подходит, что в нем победа, что — поражение, мы разберемся сами, без советов господина Рейгана и его помощников (словно и сам сидел в соседях Виктора Петровича

на тогдашнем приеме в ЦДЛ. — *В. К.*). Счеты между старой Россией и новой сделаем тоже сами, без западных доброжелателей». Увы, все оказалось сложнее, чем мы думали. Свои «доброжелатели» оказались проворнее западных, и всё провернули по чужой подсказке так, что мы не сразу и заметили, что разговоры о «преображении социальной и культурной реальности» уже стали только разговорами, которые уже ничего не меняли. Они не тревожили «доброжелателей» и чуть ли даже не поощрялись ими, чтобы мы могли тешиться уверенностью, что всё делаем сами и по своему разумению.

Но как мы еще были тогда живы и как искренни, как сильны и как еще прочны в своем доме. В этой короткой записи, сделанной тогда же в Вологде, замечательно отразился равно и его собственный «символ веры», и до сего дня актуальный принцип собирания русского слова, если оно еще хочет собраться.

Ежели, как кажется, Бог и оставил нас, то Он все-таки не лишил нас русской культуры, в которой все есть, которая для нас может стать лестницей к Нему.

Всем надо увидеть эту возможность и в полной мере воспользоваться ею.

И. Рогощенков
29 мая 1987, Вологда

Если, как кажется, Бог и оставил нас, то Он все-таки не лишил нас русской культуры, в которой все есть, которая для нас может стать лестницей к Нему.

Всем надо увидеть эту возможность и в полной мере воспользоваться ею.

И. Рощупкин

29 мая 1987 г. Вологда.



«Путь к неверию и вере»

Видите, книжка не зря названа «Подорожник» — она пополнялась в странствиях. Ну а уж коли дома, то, значит, гости приезжали сами — и это была тоже перевернутая дорога. Чаще это были гости Пушкинских праздников, театральных фестивалей, киносъемок, то есть все народ проезжий, и листок подорожника на обложке своего значения не менял.

Надежда Кондакова была гостьей Михайловского. Но перед этим, как всегда, поэты выступали в Пскове. Мы как хозяева сопровождали гостей по библиотекам. Мне выпала тогда библиотека Института повышения квалификации учителей. Надежда была в этой группе. И по окончании встречи подарила мне свою последнюю книжку.

И теперь я вижу, как вяжутся судьбы, и не могу надивиться, как античные парки ткут свои незримые нити и случайные пересечения складываются в драгоценную ткань жизни.

Валентин Яковлевич, сегодня я подарила Вам книгу свою «Кочевье». Но человека, написавшего ее, уже нет. После двухлетнего молчания появилось нечто но-

Валентин Яковлевич, сегодня я
подарила Вам книгу свою „Кочевье".
Но человека, написавшего её уже
нет. После двухлетнего молчания
появилось во мне нечто новое и нео
жиданное даже для меня самой. Вот
Вам на память одно стихотворение

Путь

Из обид из бед из бренной боли
изо всех недугов и хвороб
ты выходишь словно из подполья
из-под пуль нацелившихся в лоб

бедный бражник на тверёзых тризнах
на остатках пира бытия
кем ты узнан или кем ты признан
жалкий заместитель соловья

у оглохших слух точнее страха
быть несовместимее кисмет
зная что последнюю рубаху
только свет всевышний отберет

от ночных черешен в школьном сквере
от рыданья праздных панихид
долог путь к неверию и к вере
и не обе двери кровенит

Надежда Кондакова
4 июня 1987 года
Псков

вое и неожиданное даже для меня самой. Вот Вам на память одно стихотворение.

Путь

Из обид из бед из бренной боли
изо всех недугов и хвороб
ты выходишь словно из подполья
из-под пуль нацелившихся в лоб

бедный бражник на тверезых тризнах
на остатках пира бытия
кем ты узнан или кем ты признан
жалкий заместитель соловья

у оглохших слух точнее страха
быть несовместимее кислот
зная что последнюю рубаху
только свет всевышний отберет

от ночных черешен в школьном сквере
от рыданья праздных аонид
долог путь к неверию и вере
и на обе двери кровенит

Надежда Кондакова
4 июня 1987, Псков

А потом в Москве Надежда познакомила меня с теперь уже несомненно великим графиком и мыслителем (полтора десятилетия после его смерти выверили и подтвердили эту оценку) Юрием Ивановичем Селиверстовым. Мы подружились сразу, со

стремительностью предчувствия скорой разлуки. Он был тогда в самом счастливом полете, отовсюду извлекал редчайшие издания русских философов, читал, выписывал, литографировал портреты своих героев, складывал хрестоматию лучшей нашей, все еще на тот час потаенной мысли. Слава сюрреалиста высокой руки, явившаяся с его иллюстрациями к Аную, Акутагаве, Достоевскому, Шекспиру, уже остывала. Он прощался с ней легко и уходил в глубину русской мысли не оглядываясь. Теперь он весь был в «Русской Думе». Тут все было по нему: интуиция, мистика, символ, воображение — все совпадало с его способом понимания мира, его духовно, стремительно становящимся устремлением. Это была не работа над «циклом». Это было устроение жизни, неутолимая радость и горечь самопознания. Это было преодоление биографии для постижения в ней закономерностей судьбы. ...Приезжал я из Пскова рано. А он работал обычно ночами и ложился под утро, и выходило, что я его будил. Но ни разу не помню, чтобы, открыв мне, он шел досыпать. Нет, тотчас на кухню, кофе поставить, и сразу, взъерошенный, в халате — в самую сердцевину общих забот. И тут уж тебе и Достоевский, и Шпенглер, Леонтьев и Данилевский, Россия и Европа — словно это только тело у него просило отдыха, а ум и во сне не прерывал работы и в любой час мог отправиться в любые пределы. И за всем в конце концов слышалось одно неумолимое «како веруеши?» и непременные рифмы всего со всем (так что даже и всякое слово он нетерпеливо рассекал, перевертывал, поднимал к свету и отпускал переосмыслен-

ным: судьба — суд Божий, свобода — с обода чего?).

Это подлинно была гонка за тем, что виделось в отдалении, но еще не находило безусловного выражения. Ум допрашивал душу о тайне ее полноты и не слышал удовлетворяющего ответа. Он знал главное, что красота, правящая миром, есть Христос, и если его работы не достигали этой всеисполняющей красоты, то они были *путем* к ней.

В последние дни он часто вспоминал русские пословицы о связи жизни и смерти: «Кто жить не умел, того умирать не научишь», «Умирает не старый, а поспелый». Как-то так выходило, что мы много говорили о ранних смертях — Рубцова, Шукшина, Вампилова — и всякий раз сходились на одном, что как ни рано ушли, а душа их «поспела», и жизнь совершилась, и сказанное ими прочно и полно. 10 ноября 1988 года он напишет в новой записной книжке: «Сократ на суде произнес последние слова: но уже пора идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а что из этого лучше, никому неведомо, кроме Бога... А Сократ — это русские стократ. Мы более чем эсхатологичны. Судьба мира просматривается в судьбе России. Раскол, разлом, распыл России — конец мира, а самим русским наплевать. Нет, пожалуй, даже лучше умереть, не понимая, что с их концом придет конец миру, что русская «Косая» с косой и есть хранительница мира».

Запись будет оборвана и останется в этой новой книжке единственной...

И теперь, когда художник умер на ходу, в счастливый час успешно идущего дела, и умер среди близких людей, когда первое горе утраты отошло, я

с успокоенным сердцем вижу, что он не напрасно твердил эти пословицы, что судьба вопрошала его: «Готов ли?» И слышала в ответ бесстрашное: «Готов». Как писал потом в парижской «Русской мысли» его товарищ Петр Паламарчук, который тоже скоро уйдет: «Человеческие предложения его кончились, и в действие вступала Господня воля».

Он и в автографе все еще весь в своей великой хрестоматии «...из Русской Думы», в огне исследования вечной русской тайны — что есть Истина, Путь и Жизнь.

На вопрос Фомы
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь»
(Иоанн 14.6)
Для русского сознания
«путь» — это чувство вины
«Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я, может быть, больше всех виноват...» (Гоголь)
«истина» — это чувство красоты и правды
На расхожую мысль Достоевского о красоте, о спасении и о мире есть еще более красивое (и, думаю, правдивое)
«Красота сама ищет спасения»
«жизнь» — это чувство смерти
Не спрашиваем, как жил, скажите, как умер! А по жизни «Держи ум свой во аде и не отчаивайся»
(старец Силуан Афонский)
С любовью и в поклоне
бывший С.Юр, ныне РЮС
Г. Г. — грешный Георгий
Октябрь 1987

На вопрос Фомы
„Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь"
(Иоанн 14.6.)

Для русского сознания

„путь" – это чувство вины

"Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я может-быть, больше всех виноват..." (Гоголь)

„истина" – это чувство красоты и правды

На расхожую мысль Достоевского о красоте, о спасении и о мире есть ещё более красивое (и думаю правдивое)
„Красота сама нуждает спасения"

"жизнь" – это чувство смерти

Не спрашиваем как жил, скажите как умер! А по жизни „Держи ум свой во аде и не отчаивайся"
(старец Силуан Афонский)

С любовью и в поклоне
бывший С.Ю. ныне РЮС

Ю. С.
8 октября.

2.2. — Грешный Георгий



«Истины свет золотой»

С историком, прозаиком умным исследователем, прекрасным знатоком русской литературы, автором «путеводителя» по творчеству А. И. Солженицына, написанного когда это имя еще было нельзя произносить вслух, автором еще в чужих землях печатаемого тогда (потом выйдет и у нас и заслужит награду Патриарха) свода московских храмов «Сорок сороков», хорошим христианином Петром Паламарчуком мы познакомились у Юры Селиверстова. Потом ездили «спасать Россию» на теплоходах (тогда несколько лет подряд разные высокие организации предпочитали такую форму спасения, надеясь, что Ноев ковчег однажды пристанет к Арарату, и голубь принесет оливковую ветвь успокоения, и небеса перекроются радугой, обещая долгое историческое вёдро). Но это потом.

А пока шел 1988 год, и мысль, и без того тревожная, стала чаще поднимать глаза к небу — как же еще вполне атеистическая страна встретит тысячелетие своего Крещения? Было острое томительное чувство «аустерлицкого», часто еще пустого для наших сочинителей неба (приглядитесь, с какой поры начнет появляться в записях большая буква в слове «Бог») и неотступный вопрос: «зачем все это (то, что

случилось с русской историей и с нами) было?»

Петр еще был весел, азартен, насмешлив, жизнелюбив, повсеместен. И никому из нас в голову не приходило, что он уже смертельно болен и только торопится наглядеться на мир и надуматься о русских путях — христианское мужество до конца не изменяло ему.

Вот какие стихи ровесника века, безвестного почти белогвардейца Анатолия Величковского, написанные в 80 лет (как не вспомнить Анастасию Ивановну Цветаеву — как высока была русская закваска и как светел ум у этих великих стариков. — В. К.) в 80-м году за несколько месяцев до кончины, даже я, беспамятный грешник, запомнил наизусть:

Бумага терпит все. В странице
я сделал прорези для глаз
и вижу, как в немой столице
шагает стража в темный час.
Бредут вслепую друг за другом,
в сугробах вязнут их стопы,
свирепствует ночная вьюга,
а ниже, впереди толпы,
идет и машет красным флагом
в венце из белоснежных роз,
гордясь революционным шагом
майора Ковалева нос...

Здесь как бы собрались — и исполнились — все гоголевско-блоковские пророчества о шальном пути. А наш не только идет в другую сторону, но и в другом измерении.

Петр Паламарчук, 21 апреля 1988

Вот какие стихи ровесника века,
безвестного почти белогвардейца Анатолия
Величковского, написанные в 80 лет в 80м
году за несколько месяцев до кончины,
даже я, беспамятный грешник, запомнил
наизусть:

Бумага терпит всё. В странице
Я сделал прорези для глаз
И вижу, как в немой столице
Шагает стража в темный час.
Бредут вслепую друг за другом,
В сугробах вязнут их стопы,
Свирепствует ночная вьюга,
А ниже, впереди толпы
Идет и машет красным флагом
В венце из белоснежных роз
Гордясь революционным шагом,
Майора Ковалёва нос...

Здесь как бы собрались – и исполнились – все
гоголевско-блоковские пророчества о шалом
пути. А нам не только идти в другую сторону,
но и в другом измерении.

Петр Паламарчук. 21.7.1988

Это «другое измерение» мерещится мне и в тогдашнем автографе Василия Ивановича Белова, записанном в Пскове, когда он, вчерашний коммунист, более того, работник райкома, после Пушкинского праздника в Михайловском ехал в Печерский монастырь, думал о встрече с отцом Иоанном Крестьянкиным, об исповеди и страшился ее как перехода в новую тревожную, но желанную, необходимо верную и подлинную жизнь.

«...Дай силу простить братьев моих! Останови время, чтобы я укротил обиду и гнев! Верни мне дух любви, научи делу прощения!

Еще не совсем погиб, еще мерцает огонь твоей правды под пеплом жалких моих страстей...

Дай опять разгореться ему...»

Из пьесы «Александр Невский».

В. Белов

27 мая 1988

Месяцем позже Николай Бурляев приехал в Псков на съемки белорусской картины «Не стреляйте в белых лебедей!», привез своего «Лермонтова», показывал его, вглядывался в реакцию залов, нервничал, много и горячо выступал. Картину принимали трудно, раздраженные мнения злили и мучили его. Он яростно сопротивлялся.

Мы вспоминали давние съемки «Андрея Рублева» в Пскове, когда я, еще молодой журналист, брал у него интервью, следом за интервью у Андрея Тарковского — мне все было внове и хотелось встречаться и говорить со всеми. И он, хоть уже избало-

„...Дай силу удостоить братьев моих! Останови время, чтобы я забыл обиду и гнев. Вдохни мне дух любви, научи делу прощения! Еще не совсем погиб, еще рдеет огонь твоей правды под пеплом тайных моих страстей... Дай опять разгореться ему..."

Из пьесы „Александр Невский"

Бим 27 мая 1988.

ванный славой, тоже ведь был еще мальчик. Это роднило нас и далью дней, и счастьем молодости, и вместе одинаково тревожило обоих, потому что время одновременно светлело и темнело, как при низких облаках, и не приносило устойчивости. Мы много ездили по псковским окрестностям, по монастырям и храмам, будто искали опоры. Да и без всяких «будто» — действительно искали. Он был решительнее меня, тянулся к борьбе, уже думал о своем кинофестивале «Золотой витязь» и везде искал единомышленников.

Если ни я и ни ты
С ложью не выйдем на бой;
Не защитим Красоты
Перед зловещею тьмой;

Если ни ты и ни я
Факел сердец не зажжем,
Правды не скажем друзьям,
Песню души не споем;

Ежели я, если ты
Станем в глаза людям лгать,
И ради благ пустоты
Свет Красоты предавать, —

Кто же за нас сбережет
Истины Свет Золотой,
Мир от распада спасет,
Коль мы не выйдем на бой?!

Н. Бурляев
14 августа 1988, Псков

Если ни я и ни ты
С ложью не выйдем на бой;
Не защитим Красоты
Перед зловещею тьмой;

Если ни ты и ни я
Факел сердец не зажжём,
Правды не скажем друзьям,
Песню души не споём;

Ежели я, если ты
Станем в глаза людям лгать,
И ради благ пустоты
Свет Красоты предавать, –

Кто же за нас сбережёт
Истины Свет Золотой,
Мир от распада спасёт,
Коль мы не вышли на бой?!

Бурляев

Псков

14 августа 1988 г.



ВЕРА НАД БЕЗДНОЙ

Осенью 1988 года в Рязани собрался, кажется, последний при общем напряжении отчетливо накопившейся усталости пленум еще целостного Союза писателей России. Город даже в пасмурные дни был светел от кленов. К прекрасному, совершенно столичному, «княжескому» не по имени только, а по стати Борисоглебскому храму еще надо было идти Первой и второй Безбожными улицами, которые пересекались Комсомольским и Коммунистическим тупиками. Мы жили «там» и «тут» и нигде не находили места. Мы рвались к единству, но никак не могли встать на ноги, почувствовать настоящую, не в одном слове таящуюся опору. Ездили в Константиново, много читали Есенина, как-то порознь бегали на службы, неумело молились больше порывами и головой, чем живым и искренним движением сердца.

В перерывах между заседаниями мы всласть ходили по уютным, каким-то «цитатным», словно из Островского или Гончарова, улочкам с Георгием Витальевичем Семеновым и я с радостью слушал его.

— Когда вышел «Один день Ивана Денисовича», я вспомнил, как Юра Казаков, умудрившийся про-

читать его еще в рукописи, сразу сказал: «Ну что, старички, я-то успел, проскочил, а вот вам после того как он это напечатает — хана!» — и весело смеялся.

— А Есенина и Высоцкого любят за то, что они освобождают от греха, делают поэзией то, что человек обычно от себя прячет как нечистое. А они это нечистое — в передний угол! И мы им за это благодарны, потому что они ведь и не славят этого нечистого, и про расплату не забывают. А уж коли все равно погибать, так погибать с музыкой!

Но особенного-то времени для прогулок не было. Как всегда во время таких больших выездов надо было много выступать. Нас судьба свела с Дмитрием Михайловичем Балашовым на каком-то серьезном рязанском заводе, который опасно потравливал речку Лебедь, да, кажется, и сам город. Я волновался, поглядывал в газеты, за что зацепиться. Дмитрий Михайлович посмеивался: «А я не читаю газет с того времени, когда мы еще воевали с Кореей. Тогда американцы зажали нас там и мы как-то глупо и неподвижно торчали, ничего не определяя. И до-олго торчали. И как-то попадается мне газета, гляжу, что там? А все то же — торчим, значит. Все верно. Глянул, а газета-то прошлогодняя. И все — как отрезало. Это иллюзия жизни и информации. Полова и мякина. Наутро без следа, так что нечего засорять память».

Впрочем, я и так понимал, что мне-то, в сущности, нечего на этой встрече делать. Мы еще только вошли, а зал уже впился в Дмитрия Михайловича. И дело было не в повсеместном знании его творчества —

этого еще не было. Сразу притягивал сам Дмитрий Михайлович. Алая косоворотка под пиджаком, подпоясанная синим поясом, ладные сапожки, нестерпимо синие глаза на седом, молодом, нетерпеливом лице. Тут не было ничего театрального. Все ловко, влито, живо.

«Так вот, значит, что такое был русский человек!» — вот что вырывалось из каждого сердца еще до того, как он начал говорить.

Я что-то торопливо отбарабанил об утраченном единстве, о том, что Россия в лучшие часы держалась тем, что от государева дворца до крестьянской избы под соломой каждое утро начиналось с «Отче наш», где дед стоял рядом с внуком. И что коли этого лада и рода мы не вернем, то нечего и огород городить — огород выйдет чужой. Торопился, потому что и самому хотелось послушать Балашова.

Дмитрий Михайлович благодарно кивнул моей теме, что да, де, что вот он и сам свой выводок детей, за десяток переваливший, так учит, но хочет сказать о другом.

И пошел! Про поруганную землю, про бедную Лебедь, про мертвые гиганты, которые травят свою же землю на Байкале и Волге и вот тут в Рязани. И что надо вспомнить свою силу и честь и Родину, да и хватить восстанием против этого зла. Неужели умных людей в Рязани и в самом этом зале не хватает?

Зал закипел. Вылетел парторг, приглашавший нас, попытался «призвать к порядку», но его быстро смели свои — хоть тотчас дружину собирай! Начальство сунуло ногою под стол приготовленные для нас подарки и постаралось спровадить от греха,

шепнув и большому городскому, и писательскому начальству, что нечего возить таких писателей.

Через несколько дней мы встретились в Оптиной пустыни, которая только-только приходила в себя. Балашов еще кипел. И написанное тогда перед встречей и перед призывом к восстанию его детским крупным почерком было не отвлеченным словом, а горьким живым криком.

Понимая, что все гибнет, отчаянно верю в пробуждение — и в то, что в отпущенный нам Господом краткий срок свободы воли мы все же над бездной спасем Россию.

А иначе — все попусту.

Дмитрий Балашов
29 сентября 1988, Рязань

Это были два далеко отстоящих друг от друга дня одного 1988 года, когда мы с Юрием Ивановичем Селиверстовым ездили к Георгию Васильевичу Свиридову в подмосковное Дарьино, но теперь мне эти дни не развести — они обнялись в совершенное целое. Очевидно, дело в том, что во второй день была гроза и цыганская пляшущая кардиограмма молний хищно втянула и первый день, как только один из кадров этих старомодных фотографий, снятых при синеватом, не оставляющем тени магнии.

Юра уже толкнул калитку и замер, подняв руку, чтобы и я остановился. Окно было открыто, видна была прекрасная римская голова Георгия Васильевича. Он играл и — слышно было — пел все как будто одну фразу, окрашивая ее так и эдак. Рука вы-

Понимая, что всё гибнет
отчаянно верю в
пробуждение — и к
тому что вотпущен-
ный нам Господом
краткий срок сво-
бодной воли мы
всё же, над бездной
спасем Россию.
А иначе — всё
попусту.

Дмитрий Балашов
Рязань. 29 сент 88

соко взлетала над невидимыми отсюда клавишами и будто влекла голос вверх и держала там. Наверно, он слышал не свой мало мелодический стариковский голос, а чей-то небесный, который все это будет держать там, в синей высоте, куда улетала рука. Потом раздавался крик: «Эльза-а!», и невидимая нам его жена Эльза Густавовна, очевидно, должна была подтверждать красоту этой небесной выси.

Они были вдвоем, одни, и нельзя было спугнуть этого чуда счастливой работы, этого нечаянно подсмотренного обыкновенного дня, когда таинство творчества так не таинственно, так по-домашнему уютно и просто, как всякое другое вечернее стариковское дело. (Он потом напишет мне в блокнот эту фразу, которую пел тогда, — она была из есенинского цикла «Зреет час Преображенья. Он придет, наш Светлый Гость».)

Увлеченный, он не видел нас, и мы по шажку, на цыпочках дошли до крыльца и посидели тихонько на ступеньках, слушая, как мелодия выпрастывается из вечера, шума сосен, темнеющего перед грозой неба и первых порывов ветра. Ветер и поднял Георгия Васильевича — закрыть окно, и он увидел нас. И мы еще до грозы успели пройтись по дачному засоренному песку. Он «попинывал» тяжелой палкой шишки и хоть слушал торопливый рассказ Юры о московских новостях, но видно было, что еще весь там, в медленно остывающей мелодии, как будто подметал ее «крошки», «убирал инструмент».

А как началась гроза — я пропустил, только уж вижу веранду, рассыпанные на столе ягоды и слышу задыхающийся торопливый голос Георгия Василье-

вича, его перескакивающую мысль, словно ему надо сказать все сразу одновременно, — так много надумано им здесь, на этой неуютной казенной даче, где соседей смущает его рояль, мешающий им «отдыхать». Эльза Густавовна, слыша его волнение, предостерегающе кашляет из комнаты и время от времени хочет остановить его оттуда: «Ю-урочка-а!», но он только нетерпеливо дергает щекой и говорит, говорит...

Если бы, если бы Бог дал астафьевскую память, где ни один звук, ни одно слово не пропадет! Увы, у меня она совершенное решето, и я потом, воротясь, долго пытался что-то удержать, но, может, как раз из-за напряжения, из-за самого желания запомнить — все утекало сквозь пальцы и теперь мучает меня, как рассыпанная мозаика с потерянными фрагментами. Но я поднимаю к свету эти осколки и вижу, что целое таинственно горит в них, как по одной строке, по двустишию утраченной поэмы мы догадываемся о мере дара ее автора.

В реставрации всё борются две традиции: дописать утраты, чтобы зритель не мучился, и оставить все как есть, чтобы грядущие исследователи только пополняли поврежденную мозаику своими фрагментами. Я предпочту вторую, хотя она беднее первой и может больше раздосадовать, чем привлечь читателя.

— За музыку идет жесточайшая борьба именно сейчас (он сжимает кулаки и челюсти) — вот так! Все на краю. У нас загроблена старая музыка, старообрядческая традиция, сметено коренное церковно-целостное знание, которое восхищало Владимира Федо-

ровича Одоевского, изумлявшегося народу, который понимает музыкальную гармонию естественно, без материального изучения. Грозный вон как поощрял исследования музыки, не жалея жалованья дьякам-музыкантам, сам какие стихиры писал — понимал, чем дух народа держится.

— Мы в чужом с головы до ног, а надо бы на самое мутное время, чтобы устоять, учиться у гоголевского Хомы Брута — очертил круг и не выглядывай, потому что выглянешь — окаменеешь. Все хотим как лучше. Выходцы из Бессарабии братья Рубинштейны попали в лейпцигскую мендельсонову консерваторию — и вот на нашу голову и нам ее привезли. Лист не зря смеялся, когда видел бездарного музыканта: вам непременно надо в консерваторию; знал, что никогда ни один великий музыкант не учился в консерватории и тем держал природу. Рутина образования сначала уродует, а потом и вовсе истребляет целомудрие (целостную мудрость) миропонимания. Сейчас вон два года в консерватории проходят историю зарубежной музыки и лишь потом как придаток русскую («местную», как у шумеров). Чего тут ждать!

— Предание, предание свое романтическое надо держать в чистоте. Романтизм шеллинговой традиции был вообще очень плодотворен. А мы пошли за Мейербером, Оффенбахом — бульваризаторами романтизма и снизили его суть, заигрались. Мы забыли, что культура — это поучение, «оразумление» человека, как умный Аполлон Григорьев это звал, забыли, что здорова только естественная культура, из середины сердца выходящая, как русская песня, которая не

стесняется того, что она «прикладная»: одна — в дорогу, другая — в поле, третья — в хоровод, четвертая — в детскую...

— Из консерватории и заводятся наши музыкальные «цадики», которые вон в «Правде» пишут: «Иегуди Менухин гениально сыграл Баха. А зачем его играть гениально? Его надо играть, чтобы не Менухин, а Бах на первом-то месте стоял. «Гениальная третья симфония Малера»... А она только понахватана из библиотек, как для меня понахватано большинство наших интеллектуальных поэтических «гениев»: немного Фет, немного Пастернак, немного — Мандельштам. Это уж жевано, как, помните, в детстве: бабы нажуют — и младенцу.

И постояннее всего, настойчивее, неотступнее — о церкви, о Мусоргском...

— Литератор Платон вышел из устного Сократа, как наша литература родилась из проповеди и поучения. Да и наша мысль — тоже. Вчера прочел замечательную статью Дмитрия Сергеевича Лихачева — он там среди великих русских мыслителей поминает Мусоргского и говорит, что это философ и он в одном ряду с Илларионом.

— Я думаю о Мусоргском постоянно. Эпиков у нас много. Есть эпическое у Корсакова, у Прокофьева, Шостаковича, Бородина. А вот трагик единственный — Мусоргский. И трагик такой силы, как Софокл, как Шекспир, — он как никто держит старую могучую тему смерти. В живописи у нас ему подобия

нет, а в литературе — это Толстой и Достоевский вместе... Европейцы это угадывали. Дебюсси у него учился. Он приезжал учить детей фон Мекк, которая звала его «мой маленький Бюсси — он ведь «де» присобачил себе самовольно, как Бальзак. Он ненавидел Чайковского и не мог наслушаться Мусоргского и увез с собой клавир «Бориса».

— По существу настоящей трагедии, кажется, в русской литературе не было. И ее функции взяла на себя музыка. «Бориса» написал Пушкин, но трагедией его сделал Мусоргский. Он не только художник рушащихся царств. Он — художник православия, уверенно доказывающий, что со смертью христианства падет мир. У Вагнера это гибель богов в воде, у Мусоргского — в огне. Он не видел смысла мира без Бога. И его театр для лучших верующих — это ведь именно молитва, это насквозь религиозное явление в светской форме в отличие от Стравинского, у которого наоборот — светское в форме религиозного. Когда церковь истеатралилась, Мусоргский сделал церковью театр — послушайте-ка его молитвы в «Хованщине», в «Борисе». Даже и речитатив у него — это не речитатив от арии до арии, как у Верди, он у него церковен, необыкновенно важен, если помнить важность в церковном разумении. Кажется, в музыке — это величайшее религиозное сознание в том, еще святорусском смысле, как оно держалось до раскола. Последним это хранил Рахманинов, берег распевы, но у него уж тоже при мощной Всенощной «ослабленная» Литургия. Блок не зря спорил с Волынским о понимании природы разными культурами, утверждая, что оно самое русское — целостное, еван-

гельское, детское. От этого сгорают. И не зря, Юра (он обнял Селиверстова), у Вашего Мусоргского эта чудная свеча на месте сердца. Это подлинно убывающая жизнь, но убывающая светом, а не тьмой — Мусоргский так страшно заглянул в человека, что его испуганно постарались отодвинуть в тень тогда, а сегодня норовят извести на трактовки и честолюбие «вариантов» — кто неожиданнее...

— А у меня, кажется, останется «Метель». Тут надо довериться народному чутью. Меня это обижает, но что сделаешь...

— Нельзя, нельзя уступать в борьбе ясного и выработанного старого с неопределенным и опустошенным новым. Нельзя поддаваться мелкому, которое хочет казаться единственным. Палец протянешь — и сразу в балагане, а там они бойчее и ловчее нас. В борьбе за музыку надо устоять, хоть сейчас время не для искусства, оно для «Огонька», для черни, которая торопится разлиться и позанять собой все, пока жизнь не опомнилась...

Гроза нагремелась и ушла. Пора было уезжать. Кажется, мы всю дорогу молчали. Я не знаю, о чем думал Юра. А у меня что-то вертелась на уме наша «всемирная отзывчивость», и я ей не радовался. Сам-то вот и Пруста почитаю, и Казакова, Павича и Астафьева, Маркеса и Маканина, и вроде все в свой час по сердцу и во все небо, все вроде твои и всяк поровну важен. А послушаешь вот так, на веранде, под тревожное перемигивание молний властную речь прямо живущего человека и невольно

сконфузишься, догадавшись, что твоя «отзывчивость» часто только другое имя лени, боязнь твоя глядеть на свое, как на солнце, пока от света не заболят глаза. А смел бы всяк так глядеть — и разве мы были бы там, где есть?

Вот уже четырнадцать лет нет Юрия Ивановича Селиверстова. Молодой, он ушел раньше Георгия Васильевича. А теперь вот уже давно нет и Георгия Васильевича. Но душа его все доглядывает последние земные пути и даже оттуда не оставляет своей работы собирания русского человека, окликая нашу память. И у меня все нейдет и нейдет из сердца его светлый есенинский распев «Душа грустит о небесах. Она нездешних нив жилица». Но как по этой жизни и мысли видно, что и небеса эти — наши, родные, небесная Россия, чистая половина милого нашего дома, где нас помнят, за нами отечески смотрят и о нас молятся...

Еще и поэтому я люблю свой «Подорожник», что в час сомнения и печали он милосердно спасает меня от сомнения и усталости. И я жалею, что не мог показать Дмитрию Михайловичу тогда в Оптиной через несколько месяцев явившийся автограф Г. В. Свиридова, потому что уверен, глядишь, и у него при виде этой летучей нотной поступи силы и покоя стало бы больше. Во всяком случае, он лучше чувствовал бы помощь и опору.

Зреет час преображенья. Он придет, наш Светлый Гость!

Г. Свиридов

«Светлый Гость», сл. С. Есенина

Быстро

Зреет час Прео-бра-жень-я.

Он при-дет наш Свет-лый Гос-подь!

Г. Свиридов

Светлого Госпо

и М. С. Чечилина



«ТЕРПЕНИЯ ЖЕСТОКИЕ МИНУТЫ...»

Жизнь жилась беспокойно, словно прыжками, как в дурную погоду перебирается через грязную улицу пешеход. Все загораживала оголтелая уличная политическая жизнь. Мы не вылезали из телевизора, но это было скорее опьянение, которое ведь не имеет отношения к существу жизни.

Почему-то среди автографов начала 90-х годов больше стихов — может быть, потому, что поэты лучше слышат короткую правду дня. Я пробегаю их взглядом и слышу, как жизнь ищет обещанного в автографе Георгия Васильевича преображения, но не знает, в какую сторону повернуться лицом. И поворачивается назад, как в стихах Евгения Храмова: «И сколько бы ни уличали /Церковников в обмане масс, — /В трамвае пахнет куличами /И это умиляет нас». И радуется возможности коснуться прежде неприкосновенного: «У скорби граждан есть права /и право на рифмовку «зона-шмона» (Е. Игнатова), и мечется от тоски и предчувствия, что все идет не туда: «Господи, что это с нами стало, /И кого за это нам винить, /Что в России песен нынче мало, /А от нищих некуда ступить...» (К. Скворцов).

Так что когда вслушаешься как следует, то скоро услышишь загороженное словами молчание, которое дышит неопределенностью и предвидением срыва и оттого старается говорить, не останавливаясь. Мы сошлись тогда в Михайловском с питерским прозаиком Борисом Сергуненковым, и он замечательно говорил, что сейчас время наживать настоящее молчание, строительную тишину, что только в них, если вновь вспомнить автограф Г. В. Свиридова, и «зреет час преображенья», что молчание в такие часы есть главное писательское дело, что оно полнее послужит России, чем вся, даже очень горькая, сегодняшняя проза. Но мы все обманывали и обманывали себя словами и не видели себя со стороны.

С Владимиром Емельяновичем Максимовым мы встретились у Саввы Ямщикова. Собрались тогда Валентин Распутин, Владимир Крупин, Василий Иванович Белов. Разговор был резок и тяжек. Можно было только дивиться, как точно Владимир Емельянович видел Россию из Парижа, как верно слышал ее проблематику и как блестяще формулировал то, о чем мы еще только мычали. Кажется, его горизонт был шире, не заслонялся частностями. Не крошился о быт, о родные мелочи, которые путаются в ногах и часто заслоняют мир. Валентин только головой качал в восхищении и радостно взглядывал на нас, радуясь этой силе и страсти. Максимов приезжал тогда в Москву передавать свой «Континент», свое великое дитя сопротивления — Родине. Жур-

нал был несколько лет подлинно «континентом» спасения для всего «островного» эмигрантского русского мира, и Владимир Емельянович самим актом этой передачи как будто возвращал и тех потерянных детей, которые выросли на том «континенте» и теперь обретали будущее, в которое он верил до последнего.

Хотелось бы верить, что у нас с вами, а значит, и у России все же есть будущее.
В. Максимов
3 июня 1992

А гроза уже не просто копилась, она висела черной тучей и разразилась осенью 1993 года. И, помните, я говорил при воспоминании о Петре Паламарчуке, что мы на теплоходе «Юрий Андропов» в рамках Международного конгресса «Культура и будущее России» ездили «спасать» наше бедное Отечество? Как раз в роковые дни начала октября. Сейчас я нашел в дневнике записи тех дней.

Еще 2 октября на Смоленской площади, где мы условились встретиться с товарищем из «Литературной России», я уперся в баррикады у МИДа. Горели ящики, свалены были киоски полегче, какое-то гофрированное железо (не очень много найдешь нужного баррикадного материала на Садовом кольце). В центре кипела толпа. Кто-то кричал с возвышения. Омоновцы уже перегораживали щитами улицу, теснили нас, но мы еще успели краем прой-

Хотелось бы верить,
что у нас с вами,
а значит и в России
все же есть свое буду-
щее.

В. Максимов

7.6.92.

ти к нужному дому. Там два молодых человека самого комсомольско-бизнесменского вида организовали в обычной квартире информационный центр «Белый дом», собирая необходимую информацию в своем и чужом TV и радио. Были холодны и деловиты, презирая постороннего, исключали из дайджестов православие (хватит, надоело!). Их смущала и не устраивала миротворческая миссия Патриарха. Вполне революционная молодежь — пьют чай, иногда острят, выводят на компьютер сведения (компьютеры — от часто рекламируемой тогда фирмы «Селдом», обеспечившей ими обе стороны, видать, ребята из фирмы «подстилали соломки» на случай). Впечатление было вязкое, гнетущее. Уже через десять минут нормальная система координат умирала и ты чувствовал себя втянутым в глухое противостояние, в котором нельзя было остаться человеком. Надо было бороться либо там, либо там, при отчетливом понимании, что правды тем не менее нет ни там, ни там.

Обратно на Арбат я уже пробивался в обход — костры набирали силу, молодые омоновцы глухо и враждебно отмалчивались за щитами на попытку заговорить.

На следующий день теплоход отошел под «Прощание славянки» и «Амурские волны», которые так ладили с архитектурным «третьим Римом» Речного вокзала — с его статуями и майоликовыми сюжетами из родной советской истории тридцатых годов. Все яснее делалось чувство (особенно перед этой архитектурой), что ты прожил тысячелетия. Вечером

пошли обрывочные тяжелые сообщения о подготовке штурма Белого дома.

И потом уже ничего кроме этого не было. 4 октября в Угличе мы начали утро с литии по погибшим и молитвы о спасении России. И потом уже все было не мило. Помянули с оренбургским писателем Петром Красновым погибших в замызганном угличском погребке. Отслужили с батюшками (о. Василием Романовым из Ельца и о. Геннадием Героевым из московского Данилова монастыря) молебен в церкви убиенного Царевича, и он как-то странно вошел в общее число жертв этого дня. Два следующих дня только разговоры, разговоры — до тоски, из которых мало что удержалось, разве ироническая печаль С. П. Залыгина: «Победителей не судят!» с контекстом, что надо бы судить, да кто же будет.

Николай Николаевич Скатов, директор Пушкинского Дома, не находил себе места: «Убийцы! Убийцы! Убийцы!» И все надеялся, что обстоятельства перевернутся, что подойдут «свои» войска, что «перейдут на сторону», но уже и сам мало верил в это. И в Костроме сошел.

Никита Ильич Толстой, начиная выступление вечером 4 октября (каким странным знаком было то, что в программе, приготовленной задолго до начала нашей акции, на этот день была определена дискуссия на тему «Ненасилие»), сказал: «Страшно и тяжело говорить сегодня. Я знаю, что такое война. Я воевал в пехоте. Там научаешься не бросаться под пули, а делать свое дело до той минуты, когда надо идти самому».

И потом мы с Никитой Ильичом все вспоминали, вспоминали Юрия Ивановича Селиверстова, его «Русскую Думу», для которой Никита Ильич, друживший с Юрой задолго до меня, сделал так много. И всё печалились, что она никак не выйдет, по-детски уверенные, что когда бы она к этому часу была прочитана русскими политиками, Россия строила бы свою историю достойнее. Отчего Никита Ильич, минуя горечь дня, говорил в автографе как будто о таком частном, но внутренне важном ему и мне, потому что слышал в небесной молитве Юрия Ивановича всю глубину устремления «Русской Думы» к преодолению того, что происходило на улице.

Милый и добрый Валентин Яковлевич!

Нас с Вами объединяет наш дорогой заступник на небесах Юрий Иванович Селиверстов, раб Божий Георгий. О нем мы вместе молимся, и он предстоит пред Богом за нас.

Обнимаю вас и люблю.

Преданный Вам

Никита Толстой

6 октября 1993, Ярославль

Внук великого публициста «Нового времени» Михаила Осиповича Меньшикова, расстрелянного большевиками в 1918 году без суда на глазах жены и детей, Михаил Поспелов, принимавший участие в Конгрессе, тоже ходил из угла в угол, не находил се-

Милый и добрый
Валентин Яковлевич!

Нас с Вами объединяет
наш дорогой заступник на
небесах Юрий Иванович
Селиверстов, раб Божий
Георгий. О нем мы вместе
молимся и он предстоит
пред Богом за нас

Обнимаю Вас и люблю

преданный Вам

Никита Толстой

Ярославль
6 X 93

бе места, ждал своего выступления, чтобы, выговорившись, скорее сойти. Слишком злы и мучительны были параллели. «Свобода» опять была ложной и опять приходила в кровавом платье.

Всечасная бесовщина и фиглярство, и горе, которые часто, ох, часто бывают следствием, — все это уходит, рано или поздно, как едкий дым.

Память о друзьях, о святом — остается навечно.

Мих. Осипович, мой дед, свои статьи озаглавил «Письма к ближним».

Дай Боже сплотиться всем ближним, всем добрым, всем, кто может спасти Россию, хоть один гвоздик вбить в лесенку, по которой поднимется Россия.

Святая равноапостольная княгиня Ольга — псковитянка, моли Бога о нас.

М. Поспелов
6 октября 1993, Ярославль,
борт т/х «Юрий Андропов»

Я тогда тоже сошел в Ярославле и уехал на Урал, в некогда родной Чусовой. А только и там спастись от «улицы» было невозможно. «Октябрь» гнался тогда за каждым из нас. И уже в вечер приезда создатель и директор Чусовского музея писательских судеб (а в этом рабочем городе, кроме Виктора Петровича Астафьева, неожиданно еще сложился десяток писателей) Леонард Дмитриевич Постников будет писать в мой уже уставший от гнева и горечи «Подорожник» самые тяжелые строки:

Вездесущая бесовщина,
и фиглярство, и горе,
которое часто, оч. часто
бывает следствием —
— все это уходит рано
или поздно, как единый день.
Память о друзьях,
о светлом — остается
навечно.
Мих. Осипович, мой дед
свои статьи озаглавил
„Письма к ближним"
Дай, Боже, сплотиться всем ближним,
всем добрым, всем, кто
может спасти Россию
хоть один гвоздик вбить в лесенку,
по которой поднимается Россия, по!
Святая, равноапостольная
княгиня Ольга —
псковитянка
Моли Бога о нас!

6 X 93 г.
Ярославль,
борт т/хода „Юрий Андропов"

Спокойно все в Отечестве моем.
Лежат спокойно трупы в Белом доме.
Мы телевизор смотрим и жуем,
Страной спокойно правит вор в законе.

И в Чусовом ни гроз, ни ветра, но
Таким, как мы, в подкову не согнутым,
Отсчитывает сердца метроном
Терпения жестокие минуты.

Спокойно всё
в отечестве моём.
Лежат спокойно
трупы в белом доме
Мы телевизор
смотрим и жуём
Страной спокойно правит
вор в законе.
И в Чусовой ни гроз
— ни ветра, но
такими, как мы
в подвале не
согретым
Отстукивает сердце
метроном.
Вершина не станет
минуть

А. Костинов



ПЛЫВЕТ. КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ...

Через полгода, в мае 1994 года, мы уже снова шли на «Андропове» по Волге — актеры, писатели, философы. Устроителям казалось, что надо только чаще сходиться и найдутся слова и силы, чтобы развязать все узлы. Еще основа была общая, которую так горячо выговорил в записи актер и режиссер Владимир Гостюхин после михалковской «Урги», которую мы смотрели тогда на корабле. Казалось, одной его любви и силы хватит на всех.

Валентин Яковлевич!

Счастлив нашему первому рукопожатию, рад, что сердца наши стучат в ритме любви к России и народу русскому, в ритме страдания и боли за истерзанное наше Отечество!

Храни Вас Господь!

В надежде, что мы еще когда-нибудь обнимем друг друга!

Ваш Владимир Гостюхин

Но все чаще споры закипали и на самом корабле. В особенности в нашей межрелигиозной секции, где мы пытались вести диалог с иудаистами, мусуль-

Валентин Яковлевич!

Счастлив нашему первому рукопожатию, рад что сердца наши стучат в ритме любви к России и народу русскому, в ритме страдания и боли за истерзанное наше Отечество! Храни Вас Господь! В надежде, что мы ещё когда-нибудь обнимем друг друга!

Ваш, Владимир Гостюхин.

ВГост

манами, католиками. А в Нижнем (тогда еще просто Горьком) к нам приходили местные староверы на «Отдание Пасхи» — праздничные, в кумачовых рубахах с пояском, с намасленными по случаю Праздника волосами — словно жизнь героев Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» все шла мимо нашей истории, как два столетия назад. И мы с горькой печалью не могли им подпеть в Пасхальном тропаре, в самом центре спасения, ибо они пели, как при Аввакуме: «Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи и гробным живот дарова...»

А на другой день приходили ласковые кришнаиты из здешних университетских физиков, и Никита Ильич Толстой ворчал, когда я зашел к нему по окончании встречи: «И вы ходили? А по мне бы — так в шею и весь разговор!» Его православие было с твердым оттенком детской Сербии, где он родился, а там всегда было в вере не до интеллектуальных игр.

Сердита была и Алла Александровна Андреева, вдова Даниила Андреева, которая держалась верой в лагерях и тоже не терпела интеллектуальной расслабленности. Обычно я видел ее в каюте Леонида Ивановича Бородина, куда и сам порой заглядывал, заставая Леонида Ивановича за одним и тем же занятием:

— Сижу, перечитываю показания на меня моих товарищей. Вот литература! Как тебя светят со всех сторон. Теперь я не езжу на встречи солагерников, потому что не знаешь как себя вести — надо им подавать руку или бить по морде, а ни того, ни друго-

го не хочется, потому что я понимаю их, но не принимаю. Пить не пью давно, потому что пьющему нельзя доверять. Это осталось с подполья. Хотя какое уж у меня было подполье. А все-таки знал, что эти засветят и не почувствуют вины.

Зашла Алла Александровна. Принесла первый том собрания сочинений мужа, его поэтический ансамбль «Русские боги», обняла Бородина.

— Катаракта? Давно она у вас? Это ерунда. Не слушайте Вы никого. Ерунда! Я знаю. И аритмия ерунда. Что лагернику аритмия? У меня вон рука сломалась, хотели всю в гипс заковать, как девушку с веслом. Я говорю: Вы с ума сошли, посмотрите на снимок, она же срастается, а они говорят, в вашем возрасте не должна. Не должна-то не должна, но вот срастается!

Леонид Иванович смеется:

— Что они, несидевшие, понимают?

Потом оба быстро и посвященно перебирают несколько имен и перепроверяют реакции друг друга. Я говорю, что, наверное, это отвратительно, когда на тебя лежит где-то толстый том характеристик и ты живешь в этом параллельном мире.

— Да нет, — говорит Леонид Иванович, — это как слежка. Конечно, вначале теряешься, когда за тобой, положим, постоянно идут двое. А потом привыкаешь и только когда надо уйти, думаешь — как уйти. Неудобство — не больше. Лариса Богораз в этих случаях подходила к своим «сопровождающим» и говорила: «Ребята, мне нужно ехать туда-то. Вам все равно за мной туда — подвезите». И они ехали.

Леонид Иванович хвалит энергию Аллы Александровны. Она посмеивается:

— Какое там? Мне просто некуда деться. Я ведь совсем одна. Вот и изображаю. У меня ничего, кроме этого, нет. Я должна быть на людях, а при слове «доклад» тут же засыпаю. Но вот пойду, послушаю, о чем они там опять — надо отметиться.

Леонид Иванович долго молчит, курит.

— Если бы вы знали, что ей пришлось пережить. Наверно, знаю я один. Она однажды рассказала. А вот живет, ходит, смеется. Вообще эти сталинские зеки — это нечто совсем другое, чем мы. Я много их видел и думал о них. Их всех ломали, и они складывали себя из обломков. Вера их держала.

Может быть, поэтому Алла Александровна и записала мне не свое, а мужа, как раз из принесенного ею и подаренного Леониду Ивановичу и мне тома «Русские боги».

Даниил Андреев

...Недовышит и брошен
Дивный плат на земле,
Под дождем и порошей,
В снежных бурях и мгле.

Кто заветные нити
Сохранит от врага —
Наклонитесь, падите,
Поцелуйте снега,

В лоне Отчего бора
Помолитесь Христу!

Даниил Андреев

...Недовышит и брошен
Дивный плат на земле,
Под дождем и порошей
В снежных бурях и мгле.

Кто заветные нити
Сохранили от врага —
Наклонитесь, падите,
Поцелуйте снега,

В лоне Отчего бора
Помолитесь Христу!
Завершайте узоры
По святому холсту.

21 мая
1994
Корабль, плывущий
по России

Алла Андреева

Завершайте узоры
По святому холсту.

21 мая 1994
Корабль, плывущий по России
Алла Андреева

Правда, церковь не считает, что ее плат «недовышит и брошен» и что надо «завершать узоры». Она отворачивается от наследия Даниила Андреева и держит «Розу мира» в опасливом отдалении. Но Алла Александровна самим своим бытием и духовным опытом свидетельствовала, что вера там была крепка и целостна и Христос незыблем.

Одного этого малого несхождения, наверно, уже тогда было достаточно для того чтобы понять, что больше наш корабль «по России» не поплывет. Одних примирительных усилий при так далеко разошедшемся русском сознании (староверы, иудаисты, кришнаиты, «Роза мира», твердое православие Никиты Ильича Толстого) было уже мало. И как ни скрашивай жесткие диалоги презентациями книг и кино по вечерам, как ни надейся на спасительную красоту родных волжских берегов, а болезнь лечилась уже не сложением усилий, а общим преображением, до которого было по-прежнему далеко. Да, кажется, пропасть-то только и начинала осознаваться в своей настоящей глубине.

«ПУШКИН. ТАЙНАЯ СВОБОДА»

Я еще не раз из всех майских поездок (отчего-то все «Конгрессы» и фестивали торопились прийтись на май) буду возвращаться в Михайловское — ведь там в первое воскресенье июня родной Пушкинский праздник, от которого уже никуда. Каждый год Михайловское будет мелькать в записях и будет истинным подорожником при всяком пути. И можно, наверное, когда-нибудь выделить в дневниках и записях одни эти дни, и неожиданно станет ясно, что в них все полно уличным днем и можно спокойно писать историю Отечества по одним Михайловским праздникам — так живо собирает Пушкин русскую душу в самом ее животдневном обиходе, словно не разлучается с нами во всякий час, служа нам утешением и опорой. И я понимаю Марину Кудимову, когда — поэт жесткий и умеющий слышать улицу, не пряча глаз от самого жесткого зрелища, — она услышит в Пушкине после страшной осени минувшего года самое необходимое, что в свой час спасало Александра Блока, — «тайную свободу», которая всегда крепила зорких детей русской поэзии посреди явной лжесвободы.

Странно слово,
что такое,
Оглядевшись после
бесслова,
Не искать
чужого брода?
Безумием.
Блаженная свобода.

4.06.94
[illegible] горы

/Н. Кузьминова/

Право слово,
что такого,
оказавшись подле Пскова,
не искать чужого брода? —
Пушкин.
Тайная свобода.

М. Кудимова
4 июня 1994, Святые Горы

Ах, эта свобода! Это пушкинское затягивание.

...Через час у меня закружилась голова. Нет, хватит! «Я избран, чтоб его остановить!» Павел Бунин выступал в Псковской областной библиотеке. Тема по нашему времени, да и по основному кругу интересов художника была вполне обыкновенная — «Пушкин. Опыт художественного прочтения». И с Пушкина все и началось, но вскоре мы уже были закружены немыслимым хороводом времен, идей, характеров, исторических безумий, человеческих драм и преступлений. «Все промелькнули перед нами, все побывали тут» — Наполеон, Киплинг, Вордсворт, Гете, Экклезиаст, пророк Исайя, Пугачев, Ельцин, Париж, Вена, Лондон... И все это, как в обнаженном часовом механизме, цеплялось друг за друга, крутилось, пульсировало, катилось и неуклонно шло куда-то в отчетливую вечность, где все это было внутренне едино и закономерно в своей непостижимости.

Я тут же невольно улыбнулся его собственным воспоминаниям о том, как К. И. Чуковский с театральным гневом повелевал своему секретарю, ука-

зывая на тогда еще Павлика Бунина — школьника, ирониста, умницу, энциклопедиста, начетчика — после таких импровизаций: «Клара, уберите его!» Хотя сразу видно, что Корней Иванович очень любил и эту перебивающую себя беседу, и этот пир цитат, этот «самиздат» жизни, это сопротивление тесному времени, этот возбуждающий воздух словесной игры, потому что тут же за «уберите его» в воспоминаниях следовало:

«Он знает и любит Пушкина. Я — не так хорошо, но тоже (память помогает). Глядя вслед даме с вполне недвусмысленной походкой, он бормочет: «Так и пишет...» — потом, очень свежо: «Кто не любил мою Аглаю?» Ну что же вы?

Я. «Кто за мундир, а кто за ус...»

К. И. «Иной за деньги... (но я тоже врываюсь, не желая отказаться от смака, так что получается хором) ...понимаю!»

К. И. (задумчиво) «Иной за то, что был француз...»

Без малого тридцать лет их разновозрастной дружбы были для Павла Бунина (как до этого для Берестова) и школой, и любовью, и спасением в невеселые дни его в общем неизбалованной жизни. Возраст, очевидно, только придавал очарование игре, делал это словесное музицирование свежее и неутолимее.

Теперь ему самому за семьдесят лет. Но все осталось такое же летучее, молодое, всеобнимающее. Культура не знает возрастов — это только для удобства классификаторов мы делим ее, как историю, на античную и классическую, ренессансную и совре-

менную, а внутри она течет себе единой рекой, и Сафо в ней сверстница Ахматовой, а Катулл обнимает Петрарку, и они вместе братски кивают Пушкину.

Большие поэты чувствуют это скорее других, и Пушкин среди них первый, так что можно говорить не об одной его «всемирной отзывчивости», но с тем же правом об отзывчивости всевременной — отчего ему так естественны Пиндары и Анакреоны, Лицинии и Тибуллы, Шекспиры и Мильтоны, Вольтеры и Дидероты. И вот оказывается, что и возгоревшийся от Пушкина художник при верно настроенной, готовно отверзтой душе открывается миру и высокой традиции с такой братской живостью и любовью, что и к нему времена устремляются тою же «резвою толпой», какой сбегались к поэту.

А что он возгорелся от Пушкина, видно по воспоминаниям (ему не более пяти и он засыпает под бабушкино колыбельное «Буря мглою небо кроет», ему десять и он уже участник не какой-нибудь обыкновенной тогда, в 1937 году, в столетнюю годовщину смерти поэта, школьной выставки, а особо торжественной выставки в Историческом музее), но более и безусловнее это видно по самим работам, по светлой их свободе, моцартовской беспечности и обманчивой легкости. Он мог не говорить, что рисовал всегда — это узнается по первой линии, хотя школа его была пестра и не по его вине непоследовательна. Но биография (ранняя смерть отца, женское воспитание — матери и бабушки, все виды нищеты) была бессильна перед судьбой, которая как будто шла по другой стороне улицы и знать не хо-

тела никакого несчастья. Он, как многие из одаренных людей его поколения, дал себе образование сам (или взял его — не знаю, как сказать вернее), вышколив вкус и научившись с младых ногтей не тратить силы на случайное чтение, чем сразу изумлял того же Чуковского. А блестящая память (целые страницы текста не одних поэтов, но хоть Рескина или Карлейля, Карамзина или Гоголя сыпались из него к смущению и изумлению ближних и дальних, словно он читал их с листа). И не просто цитировал, а мгновенно находил связи, переклички культур и вер, времен и идей, скоро угадывая единство и цельность Божьего замысла мира.

Кажется, эта «всемирная отзывчивость» пришла к нему вместе с бабушкиным «Буря мглою». Он угадал в музыке пушкинского стиха стоящую за словом полноту жизни, ее счастливый закон, словно вступил в царственное наследство (у Моцарта это звучало как — «все, что до меня, то мое»). Ум был свободен, сердце чисто, душа светла, рука послушна — он был готов как пушкинский иллюстратор и занял свое единственное место сразу и безусловно, как будто оно было давно определено ему и только ждало часа.

И теперь он уже так и пребудет Пушкинским иллюстратором, что сродни высшему, вроде обергофмейстера, чину при дворе поэта. Все начерченное им взросло из семени «всемирной отзывчивости» Пушкина, было вдохновлено и благословлено его независимостью и благородством, его дружеством и открытостью миру. И там все-таки при блеске и точности чаще была хоть и счастливая, но работа,


Пб
По требованию дорогого хозяина — с превеликой симпатией
П. Бунин

иллюстрация, служение и, в общем, подчинение тексту. А тут — прямая поэзия, братство, веселое равенство, так что иногда вдруг померещится, что это нарисовано именно пушкинской рукой и нам выпало счастливое чудо — увидеть «неопубликованного» Пушкина, тот параллельный текст на полях, который он нарисовал бы, если бы слово вдруг на минуту изменило ему, а мысль и сердце летели, как прежде. Слово бы еще только вертелось на языке, а быстрый карандаш уже чертил «арапский профиль», и «разыскательный лорнет», и «темный кров уединенья», и «Божию грозу» Петра, и «колпак юродивого».

Я привожу только два автографа из альбома, а Павел Львович мгновенно исчертил несколько страниц. Могу представить, как в час вдохновения листы осыпают пол его тесной мастерской, как метельный листопад под молодым ветром. Египет и Рим, Греция и Испания — куда бы ни уносился поэт, художник уже был там, словно поджидал его, и единым росчерком, пятном, бликом, складкой, тотчас убеждал, что да — Клеопатра, Анакреон, Дон Гуан, Фауст — время, характер, архитектура, костюм. Так говорит свободное знание, которому не надо ежеминутно справляться в энциклопедиях и каталогах и прибегать к трусливой бухгалтерии деталей из опасения быть изобличенным в незнании. Тут говорит правда чувства, отменяющая вопросы о соответствии этнографии. Здесь торжествующее знание природы мира, но более ли самой культуры, музыки времен и традиций. Он мог бы сказать за Пушкиным:


„Пора, мой друг, пора...“

Друзья мне мертвецы,
парнасские жрецы,
Над полкою простою,
Под тонкою фатою,
Со мной они живут...

Его любимое пушкинское восклицание — «Время незабвенное!» — так он готов говорить не об одном 1812 годе, а обо всей пушкинской истории, всему умея найти в ней место: молодой игре и надежде, самозабвенной любви и разочарованию, уединенной печали и государственной мысли, семейному благословению и историческому порицанию. Он коснулся главной загадки Пушкина — его целостности, которая и есть единственная тайна гения. В нем нет случайного и пустого: все — жизнь, все — Бог, все — человек, все — «время незабвенное».

Ничего не декларируя, он с чудной ясностью показал, что стоит за любимой его, часто повторяемой фразой — «Долгой жизни не получилось у Пушкина, получилась вечная».

По требованию хозяина — с превеликой симпатией. П. Бунин.



НЕ СПЕЛИ...

Какие плотные были дни! Осенью того же 1994 года, с которым я никак не прощусь, Валентин Григорьевич Распутин собрал своих товарищей в Иркутске на празднике «Сияние России». Валерий Ганичев, Владимир Крупин, Леонид Бородин, Юрий Кузнецов, Александр Шахматов, Татьяна Петрова. Выступали по институтам, школам, домам культуры, а мы с Крупиным и Бородиным даже в иркутской тюрьме, где Леонид Иванович после нашего с Крупиным робкого умствования вдруг заговорил с зеками на таком крутом их языке и назвал такие свои статьи, что они уж и не смели глаз поднять, поняв, что они только мелкие жулики и ничего больше. И потом он уже спокойно мог говорить о самых сложных проблемах своего журнала («Москва») и времени — все воспринималось уважительно и достойно.

И как ждали в институтах, лицеях, домах культуры. Как жадно принимали! В нас искали единства, которого не было в самих слушателях, ухватывались за слово, чтобы быть увереннее. А только мы уже и сами этим единством похвалиться не могли. В первую же ночь Василий Иванович Белов будил меня,

чтобы я шел на «прение о вере» с приехавшим из Новосибирска старообрядческим епископом Силуяном. А о чем нам было «преть»? Мы были одного года рождения — это снимало житейские противоречия, но между нами были триста лет разной веры — этого в час не развяжешь. Нам было хорошо говорить о простом и общем, и мне радостно было застать епископа, когда он, думая, что его никто не видит, читал в арку тоннеля Кругобайкальской дороги (для акустики) «Утреннее похвальное слово Богу» М. В. Ломоносова. А потом мы шли в этом тоннеле по рельсам (не по шпалам) — я по одной, он по другой: послевоенное детство скоро учило легкости такой ходьбы, и пели путевым распевом «Единородный Сыне и слове Божий». И опять, как на «Отдании Пасхи» в Нижнем, внезапно остро задевало, что мы не совпадаем в мелодии и слове. Горько было видеть невольную метафору в том, что пели мы великие слова Литургии, но шли по параллельным, не сходящимся рельсам. Увидели и, кажется, оба одновременно разглядели эту вразумляющую метафору и, не сказав друг другу ни слова, тотчас сошли.

А самый редкий час общего единства и силы выпал, когда мы уже в последний день поехали на Байкал и там, в виду осенней шири, слепящей красоты и чистоты, в какую-то минуту, почти не сговариваясь, ахнули «Славное море, священный Байкал». Запел австралийский бас Шахматов, подхватила Татьяна Петрова, а потом уж и мы, как умели. Пел, смущаясь, никогда не певший Распутин, радо-

стно пел Крупин, потупясь и покраснев, пел Бородин. Игорь Ростиславович Шафаревич глядел на всех любящими глазами и подтягивал, подтягивал. И было так хорошо, и такая слышалась в пении радостная единящая сила, что тут же и решили, что в следующий раз нечего и слова при выступлении тратить, а выйти вот так перед честным народом, да и спеть. И тут все и поймут, что никакого расточения сил и никаких духовных потерь нет, а есть все тот же великий народ, и подпоют нам, и сами станут сильнее.

Эта радость слышна в записи Шафаревича, и она и теперь укрепляет меня.

Дорогой Валентин Яковлевич!

Вместе мы оказались во глубине сибирских земель, и здесь удалось испытать чувство соприкосновения действительно с глубиной земли, а это промелькнуло лучиком света в наши темные дни.

Ваш сердечно
Шафаревич
11 октября 1994

Слышна радость и в стихотворении Станислава Куняева, который часто читал его в те дни. Стихотворении старом, писанном в молодые беспечные дни, когда еще не оглядывались на истолкователей и были счастливо свободны в обращении с понятием «народ», потому что и сами были народом. И всякая дерзость прощалась именно из братского чувства единства.

Дорогой Валентин Яковлевич!

Вместе мы оказались во глубине сибирских земель и здесь удалось испытать чувство соприкосновения действительно с глубиной земли, а это промелькнуло лучиком света в наши темные дни.

Ваш сердечно

11 X 94 Мазаревич

С каким только сбродом я не пил
на трассах великой земли,
но как не хмелел, а заметил,
что выколотить не смогли
ни силой, ни водкой, ни ложью,
ни скопищем мертвенных фраз
последнюю искорку божью,
живущую в каждом из нас.
Глядишь — негодяй негодяем,
но чудом каким-то Бог весть
сквозь сумрак, что непробиваем,
то совесть пробьётся, то честь.

Ст. Куняев —
Валентину Курбатову.
В дни русского торжества
в Иркутске 19.10.94 г.

С каким только сбродом я не пил
на трассах великой земли,
но как ни хмелел, а заметил,
что выхолостить не смогли
ни силой, ни водкой, ни ложью,
ни скопищем мертвенных фраз
последнюю искорку Божью,
живущую в каждом из нас.
Глядишь — негодяй негодяем,
но чудом каким-то — Бог весть,
сквозь сумрак, что непробиваем,
то совесть пробьется, то честь.

Ст. Куняев
Валентину Курбатову
В дни русского торжества в Иркутске
11 октября 1994

Однако спеть перед людьми вот так вместе мы и не спели. А жаль. Нас бы поняли без объяснений по самой соборной красоте песни. Музыка еще жила в душе, но мы как будто уже стыдились дать ей волю — век и тут побеждал.



НЕМЕЮЩАЯ ДУША МИРА

Величие настоящей дружбы, пожалуй заключается в том, что друзья непременно будут стараться перезнакомить между собой и своих друзей, чтобы в каждом по возможности видеть отражение всех. Иногда случается так, что, уходя без времени, они оставляют нам друзей словно бы в завещание, и мы сходимся с опозданием, печалясь, что уже не сможем порадоваться полноте встречи...

С какой настойчивостью Юрий Селиверстов торопился устроить нашу встречу с Валерием Александровичем Гаврилиным. Они были дружны с поры, когда вместе делали «Гамлета» в Ленинградском ТЮЗе, один как художник, другой как композитор. А я любил Гаврилина с «Русской тетради», которую с радостью пел, как умел, в дружеских застольях юности, когда выпадала подходящая минута. А уж потом слушал и его «Военные письма», и «Вечерок», и могучие «Перезвоны», и балетную музыку, и чем более слушал, тем менее верил в возможность встречи, настолько был велик созданный воображением образ и так устойчива в моем понимании (да и в моем ли одном?) и репутация Гаврилина как уже вполне сбывшегося классика. И когда при моих ленинградских

поездках Юрий Иванович советовал мне позвонить по такому-то телефону, я так и не решался...

Потом Юрия Ивановича не стало, и Валерий Александрович будто приблизился, сделался роднее, словно смерть друга своей необратимостью внесла в наши мерки какую-то сближающую поправку. И тогда я позвонил.

С той поры мы виделись с Валерием Александровичем всякий раз, когда я оказывался в Петербурге (уже Петербурге)... Я не видел его за инструментом, и говорили мы обычно не о музыке, а, как во всех домах теперь, — о хаосе времени. Но острее всего я слышал все-таки именно эту сторону его мысли и не знаю зачем отмечал памятью, выдергивал из контекста случайные «музыкальные» обмолвки. Они болят во мне больше, чем иные политические или литературные проблемы, которых мы касались, потому что музыка, думаю, как-то важнее и больше политики и литературы именно своей бессловесностью и действенностью, своей проникающей способностью.

Когда повреждается и темнеет музыка, это не очень видно немузыкальному сердцу, но рано или поздно сказывается и на нем, потому что немеющая душа мира (а что такое музыка, как не эта сама душа?) незаметно обескровливает саму материю жизни... сердце это знает раньше ума и ухватывает мимолетные оговорки и складывает их.

...Я не помню, с чего начался разговор: с окна, так глухо для меня и так болезненно громко для него обнажающего улицу? С лета? С воспоминания о деревне?.. Спохватываюсь уже на середине его мысли:

— А ведь мы на небо-то уже и не глядим... Раньше вон капнет на тебя: О, дождик! — и глядишь: откуда он? Поневоле как-то голову вверх подымаешь. А сегодня глядит человек на рукав или на ботинок — о, дождик! И чаще всего с досадой так на рукавах или ботинках и оставляет взгляд. Ну разве на небо-то в луже поглядит... Вот и в музыке стали ценить не небо, а рукава. Седьмую Шостаковичеву симфонию уже будто не помнят по цели и времени написания, а знают только, что это симфония с болеро и любят цитировать это болеро с тайными кивками на Равеля, как посвященные. Бедняги...

Фотографии взбегают по стене рядом с роялем, как амфитеатр дорогих слушателей, счастливых подсказчиков, ободряющих собеседников: Астафьев в минуту печали, внимательный Белов, неожиданно оживленный Распутин. Меня особенно дивит непривычный Распутин.

— Обычно-то лицо у него так закрыто, что кажется, и снаружи ставни, и изнутри — не достучишься... А тут я рассказал ему про свою деревню, про козлят, которых так любил, что и спал с ними в загородке, когда их приносили зимой из хлева, и в их возне, игре, меканье все слышал родные гармонии, и вот теперь мне недостает этих земных гармоний, и я знаю, что их и во всей России больше не будет.

И Валентин вдруг светло раскрылся в печали, как будто себя там увидел с козлятами. Потом вдруг как-то потемнел и тяжело сказал: «А ведь действительно больше не будет». Словно все не верил этому уходу

жизни, ждал возвращения, а теперь понял, что все, все. Словно и не он «Пожар» написал, где этот приговор был уже окончателен.

А больше всего у Валерия Александровича было шергинских фотографий, и я даже не спрашивал, почему: все, кто читал последние дневники Шергина и достаточно знает музыку Гаврилина, сами поймут. И есть они в двойном портрете, писанные маслом на картонке с Марией Дмитриевной Кривополеновой. Она тут не выглядит «махонькой», как ее звали, и легко догадаться, что и Борис Викторович был не «мачтового лесу», хоть оба архангельской крови и оба в творчестве хранили силу великую. Ну да ведь нынешние наши северные писатели — покойные уже Ф. Абрамов, Д. Балашов, здравствующие В. Белов и В. Личутин — тоже как на подбор, не поднебесного роста, но зато их великая внутренняя просторность, словесная удаль и богатство даны словно в уравнение сил с могучей природой северной Руси...

— Все чаще мне кажется, что искусство — это какое-то именно искусственное, неживое существование, что силы изведены не так, как следовало. А нужно бы вот, как Мария Дмитриевна: шла себе из деревни в деревню, собирала кусочки, а всю Россию удивила и к нашим ногам положила. И никакой такой подчеркиваемой сегодня «избранности» — всякому сердцу своя: и крестьянину, и аристократу. И в Москве не потерялась, а все равно от славы домой ушла, к земле, потому что жизнь для нее была только там.

Да и Борис Викторович, хоть из Москвы не ходил, а все в дневнике, что ни день — дома, в Архангельске душой был. И мне бы в Вологду, в родную деревню, да там уж одни переселенцы, а тут еще рояль, как ядро каторжника, — куда я без него...

— Прочитал я замечательную статью Ксении Мяло, напоминающую, что, по рассказам очевидцев, над Куликовым полем в Дмитровскую субботу восходят к небесам световые столпы, как молитва погибших, и вспомнил, что я ведь тоже видел похожие столпы. Мяло писала там в укор В. Астафьеву после его романа «Прокляты и убиты», что погибают, может, и не всегда герои и война, может, не лучшее человеческое дело, но свет небесный не всегда согласим с человеческими понятиями. И у нас столпы-то вставали, когда уж мы вроде и мало достойны были их видеть. Церкви стояли по Кубенскому озеру, как в нашей деревне Воздвиженье и в соседнем селе — одна к одной, как свечи у чаши. А поглядите-ка вот фотографию, которую сняли, когда мы закончили третий класс (тут мне радостно сказать в скобках, что и у меня есть такая и той же поры — мы с Гаврилиным одного года — и такие же похожие лица и наряды, те же ситцевые рубашки из наволочек и валенки с галошами, хотя он вологодский, а я ульяновский. — В. К.)... Это вот Африкан Зеляев, отличный плотник вышел, это Бареев, а это Пушкин — у нас их было много... А эти вот ребята — и фамилий не назову: один троих зарезал и сам погиб, другой погубил одного, ну и его тоже извели, а этот вот чуть не семь человек со свету сжил. Такой мы, увы, народ... Мне понятно, когда Ас-

тафьев резко пишет о злой силе нынешнего народа. А вот столпы-то все равно встают вокруг озера. Может быть, только над теми давними праведниками, может быть, только в назидание нам, но еще встают...

И музыка вставала для него таким столпом, и угасание коренной ветви в ней мучило его почти физически.

— Вся русская музыка, по существу, из Александра Второго и Александра Третьего, отдававших предпочтение родному и энергично поддерживавших это родное стипендиями, возможностью постановок. Даже на Мариинской сцене могли идти проходные, второстепенные вещи, и все в общем знали об их второстепенности и мирились с ней, потому что понимали: никакая земля не может давать полных урожаев из года в год. Ей надо приготовиться. И талантливый человек не все делает ровно. Зато потом выходило чудо. Теперь же — сразу подавай классику. Это сбивает и уничтожает форму, заставляет жить поперек себя, все время накачивать и терзать талант. И вот пустились на Христе выезжать, всякий вчерашний специалист по партийным ораториям к съезду торопится «всенощную» написать. А молодые все больше по авангарду — бегом за Кнайфелем и Шнитке. Раз на это спрос — давай авангард. Уже студенты заражены. Раньше мог такой упрямец из провинции прийти и свое гнуть, потому что почва была крепкая, а теперь так просто не приедешь — никаких штанов не хватит. И вот вместо почвы-то — один асфальт. Без

свежей крови музыка начинает уходить в трюкачество, в голый интеллект, в математику, а крови этой нет и нет, оторвали провинцию.

По случаю Дня Победы в Большом зале консерватории была исполнена его поэма «Военные письма» для солистов, мужского и детского хоров и симфонического оркестра. Пели Лина Мкртчян и Алексей Петренко. Дирижировал Владимир Федосеев. Даже по фрагменту в программе «Время» было видно, что успех редкий, огромный. Но композитора в зале не было. При первой же встрече после этого я спросил: как исполнение? И не рад был, что спросил, — такая вырвалась обида на неловкие купюры, на недостаточную разученность, на опасный импровизационный произвол и безответственность перед автором.

— Если уж такое исполнение принимается с триумфом, значит, с русской музыкой действительно очень плохо. Видно, мы правда глохнем. Теперь можно солидному дирижеру не стесняться признаться, что он сыграл Девятую Бетховена с одной репетиции. Бруно Вальтер готовился семь лет и после померещившейся ему неудачи решился еще раз сыграть только через три года. А тут — с одной репетиции! И так чего хочешь — Девятую, «Реквием» Моцарта. Только бы поразнообразнее и попестрее афиша и пошире репертуар. До меня ли тут! До моих ли «амбиций»? Бизнес-батюшка гонит. Учить не хотят. Лучше старое и известное петь да при филармонии казино открывать для «вольдемаров» в красных пиджаках (так он

зовет «новых русских». — В. К.). Уровень падает на глазах. И я уже не верю, что в мою пору можно было услышать в оркестре дипломное сочинение студентов. О музыке думали — отчего Европа и кинулась скупать наших музыкантов. Школа была покрепче остальных мировых школ. А теперь консерваторию воспринимают как «приработок», левую халтуру. Педагогов-вокалистов — 40, дирижеров — 20. Не все ли до одного у нас теперь великие педагоги? Да и тех студенты не дождутся, потому что педагоги по гастролям бегают за копейкой.

— А какие у нас были певцы, актеры! Да и сейчас еще есть, но конвейер уже покатился. Мариинка возьмет и ахнет четырьмя премьерами в два месяца! И не пустяки какие-нибудь, а «Аида», «Хованщина». Когда, думаешь, успевают хотя бы просто одеть спектакли? А оказывается, декорации пришли из Америки, костюмы из Италии — списанное, траченое, поют в чужом, едва успевая проветрить и подшить по фигуре. А Бенуа, а Бакст, а Коровин, а Головин?.. Увы, одно воспоминание. Уже и не верят, что такие художники у нас были и, поди, не вывелись — может ли, дескать, быть что хорошее из России? А с костюмом и остальное без лица. В лучшем случае все чистенькое, вылизанное, как «Славянские танцы» Дворжака у великого Караяна. Все так безупречно, так выверено, так виртуозно, но ни славянства, ни Дворжака: видал-сасун в одном флаконе... Когда кастрировано национальное и историческое — играй что хочешь. Остается крашеный труп или восковая персона вместо музыки, хотя бы в национальном костюме.

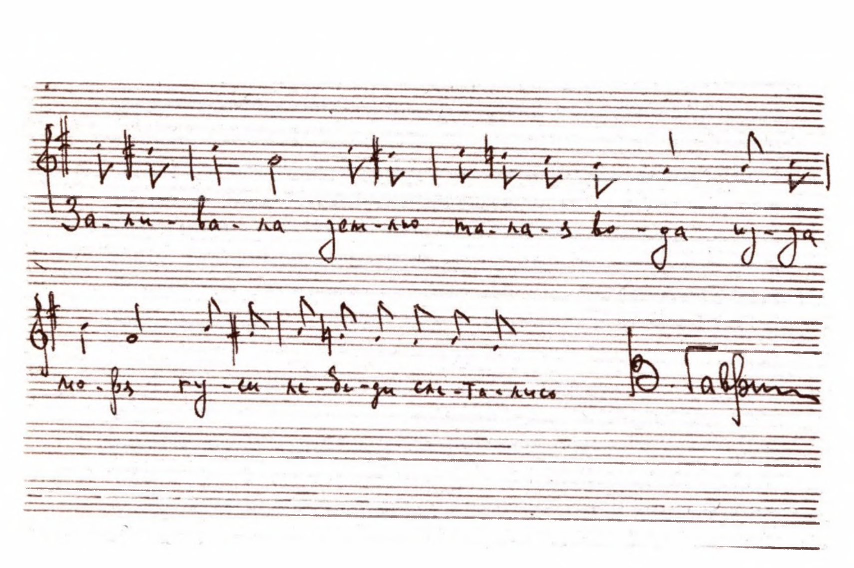
Смотрят со стены Мусоргский и Свиридов, Астафьев и Распутин, Шергин и Кривополенова, митрополит Иоанн и архимандрит Зинон, а на рояле вместе с нотами все чаще мелькают крошечные блокнотные листы (почему-то Валерий Александрович любит работать на них) со строкой-другой из Рубцова и нотной карандашной строчкой — растет потихоньку новое сочинение памяти теперь уже несомненно великого поэта, последнего в русской классической традиции, высоко и органично закрывшего из своего XX золотой XIX век, — Николая Рубцова...

— Я не море, в которое впадают реки с громкими именами. Я маленький ручей, питаемый безвестными подземными ключами, и я буду счастлив, если какой-нибудь случайный путник набредет на меня и я доставлю ему нечаянную радость и напою его влагой, какую он не будет пить ни в каком другом.

— Все чаще мне кажется, что музыка умерла. С колыбели — в доллары. Ведь это смерть. Утешьте меня. Скажите: ведь это еще не конец?

Я и в «Подорожнике» просил у него музыки. И он подарил мне партитуру «Перезвонов» с обложкой Ю. И. Селиверстова, соединив нас всех троих на минуту в живом дружестве, и вот эти строки из его чудесной, часто исполняемой тогда песни.

Заливала землю талая вода.
Из-за моря гуси-лебеди слетались.



ПЕРЕДЫШКА В ПУТИ

Как далеко ушла книжка от первых, еще спокойных, домашних, улыбчивых записей! Как нахмурилась! И вся будто на сквозняке.

Были, были еще и простые дружеские приветы, и беспечные надписи (я не зря легко перепрыгиваю через годы), но все-таки общую интонацию книги определяют не они. Во всяком случае, кто, прежде чем взять перо, заглядывал на предыдущие страницы, уже стеснялся отделать шуткой. Да и где ее было взять в бездомном времени?

Это телевизор гулял, смеялся, шутил, кажется, даже ликовал с какой-то злой вызывающей безудержностью, словно жил в другом государстве, из которого наши страдания были только предметом иронии и забавы. А русское сердце не знало приюта.

Да и то, конечно, не забудешь, что «Подорожник» оказывался в середине споров, которые все 90-е годы велись горячо и непрерывно, — в Иркутске ли, в Михайловском, в Ясной Поляне, куда я ездил несколько последних лет в качестве участника «Писательских встреч», где директор музея Владимир Ильич Толстой собирал все направления в надежде, что они под устыжающим взглядом Льва Николаевича если не разберутся, то хоть присмотрятся — так

ли существенны разделения и нельзя ли начать понемногу подвигаться друг к другу и не рвать и без того нездоровое читательское сердце.

Каждый сентябрь с 1994 года мы собирались там под веймутовой сосной в парке (при солнце) и в доме Волконского (в дождь). Несколько сборников «Яснополянских встреч», собравших горячие слова своих и западных писателей, отлично хранят ту интонацию. Присутствие «чужих» давало нам возможность почувствовать себя в середине мирового литературного процесса и яснее увидеть и свою «всемирную отзывчивость», и свою совершенную отдельность.

Как эти «чужие» спокойны и далеки, как отвлеченно формальны даже в своих трагических страницах (словно трагедия их тоже только жанрова)! Я вижу это теперь по автографам Ренэ Герра, Антонио Порпетта, Джона Блеймейера, Мануэля Кирога Клериго (*«Первые признаки осени в Ясной Поляне. Трава источает душистый запах плодов. В музыке осененного розами вечера сквозят смутные аккорды трагедии, рвущиеся к дорогам, где обитает покой»).* И как внутренне напряжены «наши». Как они резко не литературны. Не до «процесса», не до формы. И когда попробуешь теперь по записям определить, кто какого Союза, увидишь тщету и напрасность.

Жесткий воронежский прозаик Вячеслав Дегтев оставит запись, которая могла бы показаться парадоксом, когда бы не была убеждением Вячеслава, его прямой позицией:

«Когда Достоевский говорил, что «красота спасет мир», он имел в виду красоту русского оружия».

Он это оружие держал и знал, что говорит. И го-

ворит именно у Толстого, выносившего, выстрадавшего противоположное убеждение. Там, в Ясной, этот вызов слышался часто. «Непротивлению» и его пониманию Церкви доставалось особенно.

А только все-таки не «красота оружия» спасает мир и русского человека, а милая Родина, которую мы таинственным образом находим не в одном своем родовом доме, а вот и в Ясной, в Михайловском, в Спасском, как будто усадьбы и слово, в них рожденное, становятся общей формулой, общим символом веры. Наверно, затем мы по ним и ездим, о чем написал в книжке зоркий, корневой, необычайно сильный писатель Борис Екимов: «*Нового ничего не придумано. Повторял и повторяю: никакая тьма, кроме смертной, не скроет от человека ту малую пядь земли, что зовется Родиной, будь то Донщина ли, Псковщина или Ясная Поляна*».

И не о том же ли писал в «Подорожнике» Юрий Петкевич — крестьянски простой и крестьянски хитрый прозаик из Белоруссии. Его чутье к правде народного в человеке поражало. Какие «цыгане» в Ясной ни пой, какие фольклорные ансамбли своего искусства ни показывай, а пока Юра не сорвался и не пустился в середину круга в отчаянной пляске, они не вправе называться народными. Он и в дискуссии «Не могу молчать!» вдруг позабыл всю ученость своих коллег и сказал с горькой печалью: «Пока я ехал сюда через родную Белоруссию, я не мог слышать, как наши пастухи матерятся (так матерятся! так матерятся!) на коров. А ведь мы это молоко потом пьем!» А в стихах он писал: «С печалью тяжкой за плечами /Былой любви, былой судьбы, /С душой, изрубленной мечами /Во чистый храм Ее

войди. /И опустися на колени /Перед небесной красотой. /И после длительных молений /Души падения раскрой. /Крылом смиренным перед Нею /В безмолвном трепете взмахни /И без мучительных сомнений /Усталой радостью вздохни».

И я понимаю яснополянского директора В. И. Толстого, который, заглянув на предшествующие страницы «Подорожника», увидел в них нечаянную встречу, которой не устроишь в реальности: «*...было бы замечательно всех живущих еще на этом свете авторов автографов собрать как-нибудь в Ясной Поляне — вот получились бы «Встречи»!*

Да, да, конечно, собрать бы. Но мы только дальше и дальше не от одних европейцев, но и друг от друга, и все попытки собирания только мучительнее обнаруживают расхождение и делают все острее тоску по единству.

Валентину Яковлевичу
Курбатову
С сердечной симпатией
и давним душевным расположением!

Так приятно оказаться
в замечательной компании,
собранной Вами любовно
в этой книжице — было
бы замечательно всех
живущих ещё на этом
свете авторов автографов
собрать как-нибудь в
Ясной Поляне — вот
получилась бы Встреча!!!
С надеждой и верой В. Толстой
День рождения Л.Н.Т. 9.IX.97



ЧУЖИЕ РОДНЫЕ

Приходила новая весна, и снова надо было трогаться в путь, встречаться, обдумывать нажитое за зиму, будить ослабленную холодом мысль.

На этот раз теплоход «Маршал Кошевой» вез нас по Днепру из Киева в Севастополь с кинофестивалем «Золотой витязь». Владимир Бондаренко в первую минуту на корабле сказал неожиданное и неведомое мне:

— Этот маршал Кошевой, когда был без кавычек и был не теплоходом, а человеком, был родной дед Петру Паламарчуку. Бедный Петр! Его (помнишь, он всегда походил на Кудеяра — бородой, разбойничьими кудрями?) перед отпеванием побрили и постригли. Он лежал весь в белом, в шитой украинской сорочке. Стою рядом, гляжу и ахаю — Гоголь! Не зря он о нем столько писал. Так заострился нос, так выступила вся Малороссия. Уж он бы этой поездке порадовался.

Много было ранящего сердце в Киеве, много в Севастополе, много на самом корабле. Слово «православный» в названии кинофестиваля много определяло в тоне и теме споров, в самом восприятии реальности.

Было больно видеть в киевском Владимирском соборе, где каждый васнецовский и врубелевский лик глядел со стены в наше общее сердце — Нестор, Сергий Радонежский, Борис и Глеб, Никита Новгородский, — как вел службу самочинный патриарх Филарет, и служба училась идти на украинском языке. Было тяжело для сердца видеть переминающегося в облачении у Владимирского собора в Севастополе московского батюшку, который не решался войти, потому что не знал, какой юрисдикции храм, и я бегал «на разведку» и радостно оповещал: «Наши!», и мы молились и преклоняли колени в нижнем Никольском соборе перед надгробиями Нахимова и Корнилова, Истомина и Лазарева...

И споры были все о том же, ведь среди нас были не только православные сербы, но и католические поляки, и надо было искать язык любви и терпения и не терять из виду высокого кинематографа. Тогда как улица кипела страданием и была далека от этой нашей проблематики.

Вот все нейдет из памяти Днепропетровск.

Пошел тогда просто прогуляться по улице Горького вверх, миновав проспект Маркса, вышел на Комсомольскую (нарочно подчеркиваю названия). Чудно светлые листвой, высоченные, в семь этажей белые акации с толстыми «венами» узких стволов. Цветы, как гигантские ветви черемухи, и тот же немножко горьковатый запах. И пух, пух тополиный щекочет и забивает волосы. Город из крепких рабочих. Как Пермь, как, очевидно, Челябинск, как Череповец — прикопченный, с разбитым асфальтом, со странным очарованием юности, возвращения в

50-60-е годы: совершенная «Весна на Заречной улице». Совсем, было, свернул в парк, чтобы возвратиться обратно, как мелькнули красные знамена, милиция... Никак митинг? Подошел, а там...

Тысячи три шахтеров сидят, лежат, тесной нечистой массой, как на послевоенных вокзалах. Усталые, со спокойно тяжелыми лицами. Автобус, усилители, микрофон. Плакат «Компартия Днепропетровска с вами». Знамена, но немного и с краю. А так — плотное варево тел. Невидимый оратор говорил в микрофон: «Это они нас упрекают, что упала рождаемость. А чем они нас кормят годами? С их крахмала, с этой бесконечной картошки у нас стоят только воротнички на рубашках. Нам бы выжить — до населения ли? Они что, не знают?» Умолк и тысячи пустых бутылок из-под минералки (их главного питания) пошли барабанить по каскам в жестком, страшном, грозном ритме: там, там, тра-та-там, там, там, тра-та-там. И все тяжелее, невыносимее — как в атаку идут (и громче, громче, так, что, кажется, лопнут и их «барабаны», и наши перепонки).

Кажется, монстр серого здания администрации обвалится от самого этого мерного, злого, страшного, но и вместе бессильного боя — так бьются в истерике. Время от времени выходят к микрофону шахтеры, кого-то куда-то выкликают, и опять тот же мерный гром — сухой и невыносимый, загоняющий человека в угол. Кажется, простоишь тут день, и сам забьешься в бессилии. Вышел еще один: «Братья, я хочу сказать, что о нас говорит Евангелие»... — «Поше-о-ол!» — и свист целой площади. И опять все

перекрывает тот же ритм. Смели вмиг, не дав договорить слово «Евангелие».

Я ушел на корабль и уже не видел ни красоты акаций, ни нарядного парка, ни прудов с утками, не вслушивался в речь улицы — по-русски? по-украински? После обеда не утерпел, опять потащился туда. Только подошел, к микрофону вышла женщина:

— Родные мои, молодые, красивые! Да как же это так? Лучшие мужчины Украины, гордость ее, ее сила, ее защитники, спасшие Родину и давшие ей свободу, лежат на асфальте, сидят на камнях, наживая все болезни сразу — голодные, вдали от жен и детей. Да какое же правительство это позволило! Заработанное не получить — ведь это плюнуть в лицо нации. Где он, этот хваленый и хвалившийся Кучма, говоривший перед выборами, что он знает, где гроши. Где воны, те гроши? На що вин их расходуе? Катает свою жинку. Помните, земляки, как приезжала сюда его жена, и четыре часа люди ждали. Милиция перекрыла полгорода, никто не работал. Вот они, ваши гроши, ваша пенсия, ваши пособия. Берет отовсюду, тащит, не спросясь, из Америки, Франции, Англии. А чем будет отдавать? А вашим же трудом. Нет такому президенту!

Площадь аплодирует вся сразу, как все сразу гремят по каскам, — уже опыт. Четыре дня шли сюда по дорогам, уже сутки сидят здесь. Выходили полторы тысячи. Сейчас, как говорит мне стоящий тут же парень, собралось по дороге около пяти тысяч. Поклонилась им женщина, пожелала здоровья, сказала, что гордится ими, что видит, как велика и чиста еще рабочая сила, попросила держаться — ушла. И

опять гром, треск, ритм, дробь, марш (не найдешь слова) и сердце темнеет и тоже готово перебить все. Стачком выходит. Спрашивает: «Все служили в армии?» — «Всс-е!» — «Вот и давайте держать дисциплину. Никаких выкриков, никаких призывов идти на Киев. Пока дойдем, они соврут, что деньги уже ушли сюда. Мы дождемся их здесь. Мы посмотрим им в лицо».

Там, там, тра-та-там, там, там, тра-та-там.

На обратной дороге я увидел эту женщину. Я поцеловал ей руку. Она оказалась пенсионеркой Еленой Яковлевной Еланской, у которой оба родителя белорусы, а в паспорте у нее написано, что она украинка, потому что родилась здесь, — доброе чудо нашего недавнего общего отечества.

И я не знаю, хорошо ли, что в «Подорожнике», в двух записях тех дней нет всего этого. То есть в записи великого актера Владимира Заманского отголосок есть.

Валентину Яковлевичу Курбатову —

Просветителю и вспоминателю Тех, кто жил, страдал и любил России ради и Господа нашего Иисуса Христа.

Низкий Вам поклон от старого актера.

Владимир Заманский.

23 мая 1998

На подходе к Севастополю

А вот у Владимира Бондаренко, горячего критика и публициста, при его пламени и силе и тени нет. Может быть, виновата сама тетрадь, которая гово-

Валентину Яковлевичу
Курбатову —
просветителю и вспомина-
телю того и Тех, кто жил,
страдал и любил Россию
ради Господа нашего
Иисуса Христа.
Низкий Вам поклон от
старого актёра.

Владимир
Заманский

Май 23 – 98 г.
на подходе к Севастополю.

Валентин

Эта твоя книга — пример тому — как должны жить поэты. Так и жили поэты. Ругались, чванствовали, спорили, но учили друг друга и вместе творили Великую Русскую Литературу.

Куняеву ни к чему подлаживаться под Окуджаву, а Кушнер не станет тенью Юрия Кузнецова. Но нет никаких преград для того, чтобы они встретились и на страницах этой книги, и в пестром зале ЦДЛ.

Вся пена спадет, и

уверен вновь будет
и Великая Россия, и
Великая литература
И Великое Содружеств
писателей и художник
Твоей книге еще
продолжаться и
продолжаться
Всего тебе
В. Бондаренко
И не забывай писать
в „День литературы"
[signature]
На теплоходе „Марша
Кошевой", катаясь по
Днепру – реке ныне
заграничной, но все ж
родной 20.5.18

рила с ним громче улицы, а может быть, тоже усталость была у порога. Да и видел этот днепропетровский «голодный бунт», кажется, я один. Но, коли вчитаться в это, далекое от шахтерских забот, совершенно литературное рассуждение, все равно увидишь то же самое — тоску по единству и неустанное призывание этого единства.

Валентин,

Эта твоя книга — пример тому — как должны жить поэты. Так и жили поэты. Ругались, пьянствовали, но ценили друг друга и вместе творили Великую Русскую Литературу.

Куняеву ни к чему подлаживаться под Окуджаву, а Кушнер не станет тенью Юрия Кузнецова. Но нет никаких преград для того, чтобы они встретились и на страницах этой книги, и в пестром зале ЦДЛ. Вся пена спадет, и, уверен, вновь будет и Великая Россия, и Великая литература.

Содружество писателей и художников.

Твоей книге еще продолжаться и продолжаться.

В. Бондаренко

На теплоходе «Маршал Кошевой», катаясь по Днепру — реке, ныне заграничной, но все еще родной.

20 мая 1998



МУЗЫКА СУДЬБЫ И СЛАВЫ

Все хочется целого, ровного, хронологически непрерывного текста. А только напрасно. Слишком разные люди. Автографов-то больше двухсот. Собери-ка две сотни поэтов, музыкантов, художников в переломные дни в текст ясной обдуманный жизни.

Да ведь и дни-то, годы-то, в которые собрались в «Подорожнике» эти несоединимые люди, слишком текучи и зыбки. Как песок под ногой — вроде и твердо, а неверно, так что порой и соседние записи внешне близких людей друг от друга за версту.

Поминая яснополянские и михайловские встречи и праздники, «Сияние России» и «Золотой витязь», я все пропускал затеянные уже 12 лет назад Пушкинские театральные фестивали. Все никак не мог найти для них подходящего места. Между тем все они проходят в Пскове и я во всех был занят. Немудрено, что и в те дни «Подорожник» нет-нет доставался из сундука.

Там осталась дорогая запись Олега Ефремова после нашей долгой беседы о его «Борисе», что беседа *«будет иметь влияние на наши дальнейшие отношения»,* но скоро его не стало. Там есть парадоксальное открытие В. С. Непомнящего: «*Пушкин настоль-*

ко абсолютен, что обречен на относительность (пониманий, воплощений etc.)». Там Андрей Золотов вспоминает: «*Наш друг Валерий Гаврилин обратил однажды мое внимание на строки Л. Толстого: «Вышел, посмотрел на закат и понял, что жизнь человеческая не шутка». Вот и я зову вас эту нешуточность переживать».*

И есть две записи, которые своей несхожестью, хоть стоят на соседних страницах, легче всего обнаруживают, что театр всегда немного вне времени, что в нем могут соседствовать и посреди беды — игра, и посреди игры — беда. Могут соседствовать улыбка и отчаянье, беспечность и тоска, восхищение мгновением и смерть, как соседствуют в символике театра маска смеха и маска печали.

Да и Пушкин легко провоцирует нас. Его поэзия так естественна и «легка», что и у нас, грешных, «пальцы тянутся к перу, перо к бумаге...» И актеры часто выступают в двух качествах, как здесь директор фестиваля — блестящий актер, тонкий поэт и умный прозаик Владимир Рецептер. Разве что темы стихов все-таки чаще были свои — профессиональные и не то что выдавали, а подчеркивали первую и главную профессию стихотворцев. И их было особенно отрадно читать, потому что они всегда были тайно или явно исповедны. И если Рецептер жалел тех, кто не знал, что «окончена, к счастью, «Русалка», то он тем сетовал на невнимание тут же и зарифмованных коллег и побуждал читателя обратиться к своим работам о «Русалке», которые были его гордостью и его победой. Разве славословие выпивке и помянутый «драгоценный армянский коньяк»

уже были для автора в прошлом, были одной славной поэзией старинной русской традиции.

Пушкинисты
Ю. Н. Чумакову

Пересесть, поменяться местами
По теченью высоких речей...
Господа пушкинисты, я — с вами,
Хоть не ваш и, пожалуй, ничей.

То, что нам задавала наука
Мы усвоили каждый. Как мог.
И токуем о празднике звука,
Глядя в рюмочку и в потолок.

До конца мы сойдемся едва ли.
Именинник и автор суров.
Что напутал Непомнящий Валя,
То поправит Сергей Бочаров.

Никого мне на свете не жалко.
Кроме тех, кто не понял пока,
Что окончена, к счастью «Русалка»,
Но, к несчастью, любовь коротка.

....
....
....
пересаживаясь за столом.

Жаль, что нет на пиру Фомичева
И Рассадин сейчас вдалеке,

Пушкинисты

Ю. Н. Чумакову

Пересесть, поменяться местами
по теченью высоких речей...
Господа пушкинисты, я – с вами,
хоть не ваш и, пожалуй, ничей.

То, что нам задавала наука,
мы усвоили каждый, как мог,
и токуем о празднике звука,
глядя в рюмочку и в потолок.

До конца мы сойдёмся едва ли,
именинник и автор супов.
Что напутал Непомнящий Валя,
то поправит Сергей Бочаров.

Никого мне на свете не жалко,
кроме тех, кто не понял пока,
что окончена, к счастью, „Русалка",
но, к несчастью, любовь коротка...

. . . .

. . . .

пересаживаясь за столом.

Жаль, что нет на пиру
и Рассадин сейчас в заоке, Фомичёва

но сияет хрустальное слово,
как звенящая рюмка в руке.

Трезвость — вот что науку сгубило
и, спасая её как-нибудь,
допиваем за наше светило
драгоценный армянский
коньяк...

1999 г. Новосибирск-
С.Петербург

Переписано (с провалом
памяти) в замечательный
альбом Валентина
Курбатова, с дружеским
чувством

11 февраля 2001 г.
за обедом на Турбазе
в с. Михайловском,
в присутствии
хозяина альбома,
В. Непомнящего (Мос-
ква), А. Вуля (Лондон)
Е. Колобова и др.

Но сияет хрустальное слово,
Как звенящая рюмка в руке.

Трезвость — вот что науку сгубило,
И, спасая ее как-никак,
Допиваем за наше светило
Драгоценный армянский коньяк...

1999 Новосибирск — С.Петербург

Переписано (с провалом памяти) в замечательный альбом Валентина Курбатова, с дружеским чувством 11 февраля 2001 г. за обедом на турбазе в с. Михайловском в присутствии хозяина альбома, В. Непомнящего (Москва), А. Вуда (Лондон). Е. Колобова и др.

А написанный тогда же парафраз руководителя московской «Новой оперы» светлейшего дирижера Евгения Колобова на темы Пастернака мог показаться в минуту написания только высокой декларацией и, может быть, даже смутить читателя этой высотой. Казалось, такая высота мысли должна быть более целомудренна, ведь это не просто ars poetica Пастернака, а — прямо о себе, о своем понимании гибельности избираемого пути. Но через два года мы увидим, что «ноты с кровью убивают» не метафорически. Гроб будет выситься в центре прекрасного, так любимого им зала «Новой оперы», и черная сцена, черный оркестр и черный хор особенно подчеркнут свет этого, может быть, впервые спокойного лица. Дирижеры Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, прощаясь с маэстро, будут играть с его

оркестром любимых им композиторов, хор будет уносить его в небеса моцартовским «Лакримоза». И вдова, еще не сознающая себя вдовой, обливаясь слезами, все будет тянуть, тянуть звук рукою опытного хормейстера, не замечая, что сидит у гроба, потому что слушает в этот час его слухом и не видя, что хор, переставленный мизансценой смерти, не может вытянуть того, что она хочет. Когда катафалк двинется к выходу из сада «Эрмитаж» в последний путь, аплодисменты несчетных зрителей, собравшихся проводить любимого дирижера, как тысячи голубей взлетят к небесам и овации сольются со слезами, как в его оставшемся в моей тетради «парафразе».

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что ноты с кровью убивают —
Нахлынут сердцем — и убьют.

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко —
Трагичным стал мой интерес.

Но Мудрость — это Бог, который
Взамен оваций жаждет слез.
Не нот, озвученных маэстро,
А полной гибели всерьез.

Когда МоцАрт диктует чувство,
Он на Голгофу шлет раба,

„О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что ноты с кровью убивают –
Нахлынут сердцем – и убьют.

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далёко –
Трагичным стал мой интерес.

Но Мудрость – это Бог,
Который взамен оваций жаждет
слез.
Не нот, озвученных маэстро,
А полной гибели всерьёз.

Когда Моцáрт диктует чувство,
Он на Голгофу шлёт раба,
И тут кончается искусство,
И дышат Музыкой Судьба"

(под впечатлением
Б. Пастернака)

11.II.2001

И тут кончается искусство,
И дышит Музыкой Судьба.

Е. Колобов
(под впечатлением Б. Пастернака.)
11 февраля 2001

Потом, уже после кладбища, я смотрел у него дома в старой видеозаписи, как Евгений, еще Женя, свердловский консерваторский студент пел с девичьим квартетом на Свердловском телевидении что-то совсем советское, счастливо-шестидесятническое, и вдруг смутился и обрадовался неожиданной и много объясняющей мне в специфике этого дара мысли.

Я вспомнил пору нашего знакомства, когда Колобов сдавал прессе только родившегося «Онегина» в кинотеатре на Таганке, где он ютился тогда со своей «Новой оперой» и где удивлял невольным модернизмом, размещая хор на пожарных лестницах и на балконе. Вспомнил весь свет и всю нежность, всю русскую печаль и счастье этого молодого, радостно пушкинского спектакля, где, может быть, впервые в оперной истории певцы были сверстниками своих героев.

Там был Чайковский, была русская песня во всей ее чудесной свободе, и там было и вот это студенческое пение, этот милый квартет его юности. Там было живое время, обнимающее и таинственно сохраняющее всю даль человеческой жизни, из которой ничего не вынешь усилием рассудка. Там было его горячее живое сердце. И когда в последней сце-

не между Татьяной и Онегиным вошел Гремин и Татьяна упала в обморок (Колобов играл первую редакцию оперы) и кто-то из смешливых журналисток хихикнул, он бросил палочку и вышел, оставив в растерянности оркестр, актеров, зал. Вернулся не скоро и бледный: «Вы, господа, кажется, забыли простые человеческие чувства. Мне стыдно и больно. Я, кажется, напрасно тратил на вас силы».

И потом в его Моцарте и Верди, в его Рахманинове и Танееве я уже всегда слышал эту русскую, деревенскую, народную и вот, оказывается, даже никуда не девшуюся советскую стихию в той ее части, которая хранила в себе неповрежденное народное существо. Он защищал в себе и в нас родное, защищал *целостное* в этом родном с открытостью ясно сделанного выбора, не поддаваясь сквознякам всепроникающего постмодернизма, который и в музыке стремился утвердить холодок постистории, пострелигиозности. Постжизни, наконец. Утвердить «чистый» воздух вневременности. Он берег в себе эту целостность, почти культивировал ее. Не зря в кабинете его окружали портреты Рахманинова и Бунина, Чехова и Астафьева, а душа жила высокой родной поэзией и прозой.

Он знал, что музыка сердца всегда умнее музыки ума, и это делало его беззащитным и сильным одновременно и определяло высокое своеобразие Судьбы и Музыки этого теперь уже несомненно великого русского дирижера.

И, может неуклюже, но мне хочется прибавить к этим автографам еще один, совсем не театральный

и оправданный разве тем, что он тоже рожден в Михайловском. Философско-экономическое ученое собрание им. С. Н. Булгакова провело там блестящую конференцию «Столица и усадьба». Как прекрасны были доклады, как горячи дискуссии, легко и естественно продолжавшиеся вечерами, когда мы с главой Собрания Юрием Михайловичем Осиповым и Александром Сергеевичем Панариным (таким, казалось, молодо летучим и рассчитанным природой надолго — да вот не одна русская музыка, а и русская мысль требуют «полной гибели всерьез» — через два года его не станет) схватывались после ужина, словно и не было дня работы, и все о том же — о слове и молчании, силе и бессилии, постмодернизме и конце истории.

Трудно писать во времена суесловия. Может, бессловесье лучше — в ожидании Слова; будет, не будет, но верится: если не Россия, то кто?.. Странное это время — постисторическое, то ли повезло, то ли нет. Да будет!

Ю. М. Осипов, профессор МГУ
9 июля 2002

Будет, будет, Юрий Михайлович, ведь бессловесье не всегда немота. Когда оно принимает на себя подвиг молчания сознательно, оно становится музыкой.

Трудно писать во времена суесловия, может, бессловесье лучше — в ожидании Слова; будет, не будет, но верится; если не Россия, то кто?.. Страшное это время — постисторическое, то ли повезло, то ли нет. Дай Бог!

Ю. М. Осипов
профессор МГУ
09.07.2002

ПОД СЕНЬЮ РУССКИХ НЕБЕС

В публикации таких «домашних» книг неизбежно есть и элемент неловкости, словно ты пользуешься поводом выставить свои добродетели. Народ-то пишет все воспитанный и часто считает должным сказать тебе похвальное слово, как будто ты и впрямь протягиваешь ему некогда обязательную во всяком учреждении «книгу отзывов». И если, преодолевая неловкость, я все-таки не опускаю и некоторых личных страниц, то потому, что иначе нарушится сама чистота «жанра» (никто ведь не поверит, что в домашнем альбоме люди решали только национальные задачи и забывали хозяина). И потом (напомню!) тут важен и почерк, который мы скоро станем забывать за компьютерным мертвым тестом. Поглядите-ка свою электронную почту — вроде и человек тот же, и словарь, и чувства, а читаешь с экрана, и сердце твое мертво одинаково и на укор, и на похвалу. Переведешь на бумагу, а в печатных буквах еще мертвее. Мы незаметно теряем в ровной слепоте механических шрифтов что-то необыкновенно важное, именно русское, сердечно-доверчивое.

И теперь, счастливо оглядывая живые страни-

цы, ты уже не об одном содержании записи думаешь, а радуешься теплу руки, и все увереннее подтверждаешь всем известную, но всеми на своем опыте и всегда с детским изумлением открываемую истину, что почерк — это непременное зеркало характера, необыкновенно живой портрет пишущего — его слабости и силы, его нетерпения и усидчивости, его воли и неуверенности, его скрытности и доверия.

Последние записи я приберегу еще раз для Ясной и Михайловского, хотя в самом альбоме жизнь продолжается и после них. И не потому, что они часто шли в «Подорожнике» рядом и в них живее всего билась литературная мысль и слышнее было время. И не потому, что я охотнее всего брал «Подорожник» с собою именно в эти места, не страшась, что литераторы на глазах друг у друга будут от неловкости (всякое творчество стыдливо, как бы художник ни был бесстрашен или даже циничен в житейском поведении) писать что-то случайное и не открывающее их настоящей глубины. Нет, скорее потому, что устающее к концу книги сердце ищет успокоения и хоть в воображении устремляется туда, где оно было яснее и тверже. Драматизм мысли не оставлял авторов и там, но я уже всегда буду слышать контекст каждой записи, свет полного дня, где запись была только усталым окончанием, похожим на простой взмах руки на прощанье: «Ну, привет!» Я буду слышать сам воздух осенних толстовских садов, таких плодоносных, что яркие лужи опавших яблок будут гореть под каждой яблоней, и лошади будут бережно подбирать их, не заботясь о том, цитируют ли

они начальные кадры «Иванова детства». И буду слышать безмолвие Сороти и шум михайловских рощ, их ровный пушкинский голос, все доносящий чистую ясность его гармонии.

Очень надеюсь, что высшее их волнение, так остро угаданное на этих страницах разными возрастом и даром, разными служением, но одинаково бережными и зоркими в любви прозаиком В. И. Лихоносовым и директором Пушкинского заповедника Г. Н. Василевичем будет так же благодарно услышано и всяким читательским сердцем.

Виктор Иванович писал счастливым вечером по получении премии «Ясная Поляна», как всегда при таких событиях оглядываясь на минувшее и по-русски смущаясь, точно ли высоко и достойно было сделанное в жизни и верно ли был использован данный Господом дар. И пусть внешне его слово обращено к другому, внутренне оно проверяет себя и уже через голову прямого адресата обращается ко всей русской поэтике грядущего, чтобы опыт лет и книг стареющего художника сослужил ей во благо.

9 сентября 2003 — Ясная Поляна.

Как я жалел раньше, что редко бываю во Пскове, в Изборске, в Малах, в Тригорском, Михайловском, Опочке и т. п. Каждый раз, когда я читаю что-нибудь забытое или новое о знакомцах Пушкина вокруг его усадьбы, меня возвышает вздох: почему я не жил тогда?! Читаю Вас, Валентин Яковлевич, и Вы, кажетесь мне счастливее меня. Не говорю уже о том, как тосковал я по Б. С. Скобельцыну (псковский рес-

9 сентября 2003. — Ясная Поляна

Как я писал раньше, что редко бываю во Пскове, в Изборске, в Малах, в Тригорском, Михайловском, Опочке и т. п. Каждый раз, когда я читаю что-либо давно забытое или новое о знакомых Пушкина вокруг его усадьбы, меня возвышает вздох: почему я не жил тогда! Читаю Вас, Валентин Яковлевич, и Вы кажетесь мне счастливее меня. Не говорю уже о том, как тосковал я по Б. С. Смоленскому.

Но между тем... не было бы Пушкина, не стали бы милыми и эти места, не страдал бы я желанием написать что-нибудь волшебное.

Хочу самому открывать
чудесные земли и писать о них
тебе, чтобы лучше мечтами
пожить там хоть немного...
И всё-таки... Вы счастливее меня...

Рад был увидеться.

В. Лучков

тавратор и прекрасный фотограф, автор нескольких альбомов по Пскову. — В. К.).

Но между тем... Не было бы Пушкина, не стали бы милыми и эти места, не страдал бы я желанием написать что-нибудь волшебное. Надо самому открывать чудесные земли и писать о них так, чтобы другие мечтали пожить там хоть немного...

И все-таки... Вы счастливее меня...

Да, надо самому «открывать чудесные земли». И даже если они, как Михайловское, открыты и названы великим словом самого Александра Сергеевича и поколениями других поэтов, все равно каждый из нас открывает эту землю сам — своим слухом и сердцем, своей мерой любви и страдания, своей полнотой понимания и принятия родного.

История пишется незаметно. Этой книге сегодня исполнилось двадцать восемь лет. Именинниками на этом торжестве сегодня все, живые и мертвые, все, чей след пера остался под черной обложкой с листом подорожника. Все мы — странники, все — команда одного корабля, у которого порт приписки наша Родина, наша родная Россия.

Плохо ли, хорошо ли за стенами дома, но вслед за Пушкиным, здесь, в сельце Михайловском, повторю вновь — я счастлив и богат моим Отечеством. Сознавая это, молю Господа о спасении для всех нас, живущих под сению русских небес. О прощении, милости и любви.

Г. Василевич

11 января 2003, с. Михайловское

История пишется незаметно. Этой книге исполнилось сегодня двадцать восемь лет. Именинниками на этом торжестве сегодня все, живые и мёртвые, все, чей след пера остался под чёрной обложкой с листом подорожника. Все мы — странники, все — команда одного корабля, у которого порт приписки наша Родина, наша родная Россия. Плохо ли, хорошо ли за стенами дома, но всегда за Пушкиным, здесь, в сельце Михайловском, повторю вновь — я счастлив и богат моим Отечеством. Сознавая это молю Господа о спасении для всех нас, живущих под сенью русских небес. О прощении, милости и любви.

Г. Василевич

с. Михайловское
11 января 2003 г.

ЭПИЛОГ

Я выхожу из книги со странным чувством.

В живом «Подорожнике» остается еще с полсотни чистых страниц. Когда-нибудь заполнятся и они, и, может быть, новое время действительно принесет новые — и великие — имена и новый внутренний сюжет (Бог милостив и не оставляет Россию талантами и в горестные дни), но они уже будут «вслед» и уже с тенью «незаконности», словно post scriptum к уже завершенной жизни, начатой так беспечно и законченной так серьезно.

Я словно впервые со смятением вижу, сколько прекрасных художников ушло только из этой книги. Целая культура.

Как много любимых покинуло свет,
Но с ними беседуешь ты, как бывало,
Совсем не заметив, что их уже нет —
Черта горизонта в тумане пропала.

Это писала Мария Петровых, чудесный поэт, давний и долгий товарищ Арсения Александровича Тарковского, так же оглядываясь в конце своей жизни. Действительно (и, мне кажется, в «Подо-

рожнике» это видно) — черта горизонта размылась, и ТАМ и ЗДЕСЬ уже не так отчетливы. И любимые не покидали света, а все тут рядом — живые и близкие. И ведь так оно и должно быть в правильно сознающей себя культуре. В ней нет прошедшего. Слово не бывает вчерашним.

Разве они ушли — Антокольский, Гейченко, Цветаева, Окуджава, Балашов, Берестов (хоть снова полкниги перечисляй), если их рука так тепла на страницах «Подорожника», а мысль горяча, любяща, спокойна, мятежна, как была при жизни? И так естественна и равноправна с мыслью тех, кто, слава Богу, жив и вовсю работает, что опять понимаешь правоту Евангелия — любовь и память отменяют смерть.

Но отчего же тогда это чувство завершенности и укол прощания? Отчего вот сейчас хочется еще немного продлить время, побыть с героями и читателем, не дать захлопнуться последней крышке переплета?

Наверно, таков уж феномен книги вообще. Она, как выросшее дитя, однажды уходит из дома, оставляя на сердце рубец, и живет где-то независимой жизнью, и ты уже не защитишь ее и не убережешь от чужого суда. Вот и хочется еще подержать на пороге, наглядеться. Ведь это твоя жизнь, твое время, которое новый эгоизм будет числить в плюсквамперфектум, относить по ведомству давно прошедшего и только исторического. И проводить, проводить черту горизонта.

Тут ничего не поделаешь. Прав читатель, самозащитно отодвигающий чужую жизнь в «историчес-

кую ссылку». Прав автор, надеющийся «отменить» историю для вечного настоящего, для текучего чуда жизни, не знающей разрывов. Но если заглянуть глубже наших малых правд, откроется, что всякая книга — спасительный «подорожник», заживляющий разрывы и в отрицающем их, и в принимающем человеке. Прощаешься с реальными, уходящими в прошедшее судьбами, но зато встречаешься с их преображенным, навсегда настоящим светом книжного существования. Они те же и другие, твои и ничьи, реальные и бесплотные.

Время продолжает идти за окном, но навсегда останавливается в книге, дожидаясь читательского взгляда, чтобы снова вспыхнуть вечным «здесь и сейчас». И когда однажды почувствуешь это всем сердцем, никакое прощание не будет страшно, и выросшие дети никогда не уйдут, и последняя крышка переплета никогда не закроется.

Как подорожник никогда не оставит обочины русских дорог.

Октябрь 2003, Псков



СПИСОК АВТОГРАФОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Курбатов
Валентин Яковлевич

ПОДОРОЖНИК

Встречи в пути,
или
Нечаянная история литературы
в автографах попутчиков

Художественное оформление
С. Элоян
Технический редактор,
компьютерная верстка
Е. Бер
Корректор
О. Самсонова

ISBN 5-94535-047-8



Издатель Сапронов
ИД № 04332 от 23.03.2001
664003 Иркутск, ул. К. Маркса, 22, оф. 47
тел./факс (3952) 25-84-83, 33-42-56
e-mail: bgvector@mail.ru

Подписано в печать 3.08.2004
Формат 70x100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Newton.
Усл. печ. л. 14,19. Тираж 1500 экз. Заказ 8409

Отпечатано в ФГУИПП «Советская Сибирь»
630048 Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104



Псков
Санкт-Петербург
Петрозаводск
Архангельск
м. Канин Нос
Нарьян-Мар
Валдайская возв.
Смоленск
Вологда
Ярославль
Москва
Тула
Брянск
Сыктывкар
Нижний Новгород
Киров
Саранск
Казань
Ижевск
Пермь
Воронеж
Саратов
Волгоград
Самара
Уфа
Екатеринбург
Магнитогорск
Челябинск
Тюмень
Оренбург
Ханты-Мансийск
Омск
Астрахань
Атырау
Астана
Жезказган



м. Челюскин
1125
о. Бол. Бегичев
Диксон
Северо-Сибирская низменность
Хатанга
47
150
Норильск
плато Путорана
1678
Анабарское плато
908
Оленек
Салехард
Нов. Уренгой
З А П А Д Н О - С И Б И Р С К А Я
Туруханск
Сибирские Увалы
285
Сургут
Нижневартовск
С Р Е Д Н Е С И Б И Р С К О Е
П Л О С К О Г О Р Ь Е
943
1083
Тура
21
Центральнотунгусское плато
548
г. Енашимский Полкан
1125
Усть-Илимск
912
Томск
Новосибирск
Кемерово
Красноярск
Братск
1500
590
Барнаул
Абакан
2266
Иркутск

